

Союз писателей России

Тамбовский
АЛЬМАНАХ

№ 21

издаётся с 2005 года



Тамбов • 2021

УДК 821.161.1
ББК 84 (2=411.2)6я4
Т17

Тамбовский АЛЬМАНАХ № 21

Литературно-художественное издание
Тамбовского отделения Союза писателей России

Главный редактор

Юрий МЕЩЕРЯКОВ, *поэт, прозаик*

Редакционный совет

Олег АЛЁШИН, *поэт, публицист,*
главный редактор «Рассказ-газеты»
Валентина ДОРОЖКИНА, *поэтесса,*
прозаик, литературовед,
Мария ЗНОБИЩЕВА, *поэтесса,*
литературовед,
Сергей КОЧУКОВ,
прозаик, публицист, историк
Татьяна КУРБАТОВА, *поэтесса,*
Елена ЛУКАНКИНА,
поэтесса, прозаик, публицист

ISBN 978-5-6046568-3-9

УДК 821.161.1
ББК 84 (2=411.2)6я4
Т17

© СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
Тамбовское отделение



Игорь ЛАВЛЕНЦЕВ

Чёрный турман

* * *

Зависит речи глубина
От звука сказанного слова...

Какая зыбкая основа,
И зыбкость явственно видна,
Когда на ближнем рубеже,
Теряя вольную тональность,
Прямая пропорциональность
От мысли тянется к душе.

Но как сквозь стадию молвы
Восходят к речи окрылённо
И ропот мартовского клёна,
И крик полуночной совы,
И запах срезанной лозы
Несёт словесную примету?

Труднее следовать завету,
Чем выводить свои азы.

Учитель

Светлы будни и пути,
Дни исполнены веками,
Где учащему идти
До поры с учениками.

Пусть вовек не Иисус,
Но сиянию подвержен,
Коль тщеславия искус
Вразумляющим отвержен.

Лик его почти что свят,
Путь его отчасти млечен.
Пусть не будет он распят,
Будет иначе отмечен,

Но заведомо вослед
Сонаправленной метой.
На сердца проливший свет
Не минует чаши этой.

Не минует вопреки
Тривиальности ученья.
Не скостят ученики
Ни измены,
Ни забвенья.

Вот ещё на одного
Рать былая поредела,
Будто в полночь
У того
Гефсиманского предела.

И споткнувшись на азах,
Новой мукою обяжет
Тот,
Кто кается в слезах,
Тот,
Кто петлю молча вяжет.

* * *

Судьба в глаза бросает весело
Крупинки горького песка.
Мое земное равновесие...
Моя небесная тоска...

Не обрету иного чаянья,
К иному берегу приплыв.
Моё счастливое молчание...
Мой нерастраченный порыв...

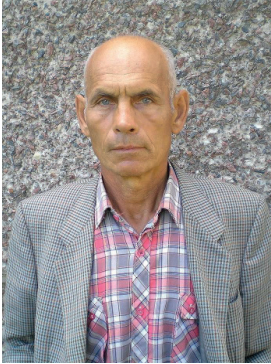
Сквозит прохлада одиночества
Над веками моими вновь.
Моё заветное пророчество...
Моя запретная любовь...

Чёрный турман

Чёрный турман –
Дух летучий,
Голубь – аспид,
Голубь – грач,
Под малиновою тучей
Я не плачу,
Ты заплачь.

Под малиновою тучей...
Что за ересь?
Что за блажь?
Не размыть слезой падучей
Цвета ягоды мираж,
Не постигнуть,
Крыл не мучай,
Мной очерченный вираж.
Чёрный турман –
Дух летучий.





Александр МАКАРОВ

Время падения звёзд *Стихи разных лет*

* * *

Я не могу найти поэта,
Простого смертного, как я.
Он где-то здесь в потоке света
Стоит у кромки бытия.

По книжной полке шарю взглядом:
Вот Пушкин, Лермонтов и Блок,
Шекспир... Конечно, с ними рядом
Он встать из скромности не мог.

Быть может, он в лесу иль в поле.
Но как же мне найти его?
Хочу ему признаться в боли,
Что без его щепотки соли
Не сладко в жизни ничего.

Очарованный грешник

Все поверили в Бога сегодня. Вчера
Веселились с антихристом, не замечали
Удивительный свет в половину чела,
Свет, пришедший из тьмы безысходной печали.

Я не верю, что есть где-то рай, – всюду ад.
Веют тихим забвеньем аллеи пустые.
Всех не может вместить распустившийся сад,
И кому-то придётся остаться в пустыне.

Неподвластна движению тьмы синева,
Возвращенье молитвы превыше геройства.
Облекай настроения эти в слова,
Шорох светлых минут превращай в беспокойство.

Я не видел ни Бога, ни чёрта. Любить
Не умею без веры высокой и прочной.
Знаю, смертный мой грех никогда не избыть,
Грешник я, но душа у меня непорочна.

Прикосновение

Простите Ольгу, недалёкие древляне,
бросали в ямы вас, обманывали, жгли;
приняв за правду ложь, за прямоту кривлянье,
в историю земли вы всё-таки вошли.
О, как жестоко мстит убитый вами Игорьь,
как трудно избежать хитросплетенья слов;
могильные холмы – ристалища для игр
крикливых чёрных птиц – в пространстве
наших снов.

Вот хаос птичьих стай: к хвостам их привязали
горящие трупы; вот этот час и день;
в тяжёлых жерновах величественных зарев
размолот, как зерно, сожжён Искоростень.
Я летопись листал и слышал запах места,
я слышал рёв огня и видел отчий дом,
который позабыл в строку поставить Нестор,
и, может быть, как знать, он сожалел о том.

В Отечестве моём нет города такого,
который бы не знал разрухи и огня;
в завалах бытия живым осталось Слово,
и сохранился зов космического дня.
Откликнуться на зов, не ждать благословенья
незыблемой судьбе изменчивых планет, –
вот истинная жизнь, итог прикосновенья
гусяного пера, рождающего свет.

Свет звезды

Я за полночь вышел из тихой избы –
Меня разбудил свет далёкой звезды.

Высокий, широкий, таинственный свет,
К земле добирался он тысячи лет.

О как на земле было тихо. Темно.
О как это было недавно. Давно...

Жил-бедствовал милый чудак-протопоп,
Ему был не страшен ни чёрт, ни потоп,

Ходил и хотел он избавить умы
От чёрного зверя прожорливой тьмы.

О чём бы ни думали люди-зверьё,
Гусиным пером он вносил в «Житие».

Его разглядела звезда. И к нему
Свет сотни годов шёл сквозь тихую тьму.

Дошёл до земли, наконец, звёздный свет,
Но нет протопопа, остыл его след.

Ушёл – не найти – по великой земле.
Рассеянный свет заметался во мгле.

Свет в окна стучался, пророчил беду.
Я за полночь вышел взглянуть на звезду.

Как некогда, в оное время, от дум,
Взглянуть на звезду выходил Аввакум.

Моление

Есть песня у меня – нет времени для песни.
Разбросаны в полях обугленные дни.
Убила правду ложь, и я шепчу: «Воскресни,
Молитву отыщи, моление сохрани.

На внешность не смотри – я одеяньем беден,
Но разумом богат, и свет мой – изнутри.
Я голоден и бос, беспомощен и бледен,
Унижен, оскорблён – о, лучше не смотри...»

Разрушены миры, не выдержали скрепы.
«Воскресни, – я шепчу, – над ложью поднимись.
Корнями крепок дуб, а дом державой крепок,
В завалах бытия живёт и светит мысль.

Воскресни, – говорю, – вложи в трусливых храбрость,
Бесстрашных укрепи, ленивых утверди.
Моление храни на горе и на радость,
На горе – позади, на радость – впереди.

Терпи, не поднимай кусок, который бросят,
Молитву подними, она лежит в золе.
Да пусть не скажут нам, пусть никогда не спросят:
«Да где их Бог?..» Наш Бог – на небе и земле».

Город

Мне снится, будто я внутри дворца,
Углы, колонны, стены без конца.
Мне снится, что за мной крадётся зверь,
И я боюсь попасться в когти зверю.
Бегу, бегу. И подбегаю к двери.
Открыл её, а там другая дверь.

Дверь приоткрыта. Виден солнца луч.
От ветреного дня счастливый ключ.
Ура! Никто не страшен мне теперь,
Как мог я жить, в спасение не веря?
Бегу, бегу. И подбегаю к двери.
Открыл её, а там другая дверь.

Дыханье зверя слышу за спиной.
Сейчас всё будет кончено со мной.
Прощай, земля! Из множества потерь
Я буду незаметною потерей.
Бегу, бегу. И подбегаю к двери.
Открыл её, а там другая дверь.

Отчаяньем охвачена душа.
Жизнь и во сне не очень хороша.
Мне хочется проснуться поскорей
И жизнь спросить, зачем она тревожит
Дворцом, в котором тысяча дверей,
Но выйти из него никто не может.

Автобус

Мы едем с тобой в автобусе с Киевского вокзала.
Мчится ночной автобус, время свистит – держись!
В разные стороны нас время поразбросало.
Может быть, мы единственные из миллионов нашлись.

Ночью огни за огнями и звёзды идут друг за другом.
Я никогда не думал, что счастье – смотреть в глаза.
Вижу я Родину утреннюю, вижу птицу над лугом,
Бьёт комаров булавою древняя стрекоза.

Вижу я тихую рощу, – это похоже на чудо, –
Вижу реку, убегающую по каменистому дну.
Вижу тебя и думаю: «Ты вышла оттуда».
Я тебя в этом веке боюсь оставить одну.

Я говорю тебе взглядом: «Здравствуй, моя родная!
Не хорони себя в грусти, свет свой храни и держись».
Мчится ночной автобус. И я ничего не знаю,
Догнать он успеет ли медленно уходящую жизнь...

* * *

Ты плачешь, и слёзы бегут по лицу,
Как быстрые капли дождя по листу.
А ночью, когда все больные уснут,
В палате становится тише.
По небу прозрачные тени снуют –
Мелькают летучие мыши.

В окне слуховом сеть поставил паук
На лунную искру, на радостный звук.
Тебя не заметило время, летя
Звездой рукотворной над бездной.
Мать, слушая, слышит, как стонет дитя,
Свернувшись на койке железной.

И чувством трагедии полнится ночь.
Не в силах спасти я, не в силах помочь
Тебя унести за леса и моря,
Где музыка, солнце и пенье.
Темно. И не скоро окликнет заря,
И нет никакого терпенья.

* * *

Я вытащил пулю из тела сосны,
Кусочек свинца – тяжелее нет бремени.
Сосне много лет снились чёрные сны,
Сгорбатилась и поседела без времени.
А пуля когда-то летела в отца,
В открытое сердце, в открытую дверь его.
Смертельные граммы тупого свинца
Впитало в себя золотистое дерево.
Я пулю гвоздём ковырнул из распила
И к удочке сделал из пули грузило.
Тяжёлую память минувшей войны

Бросаю в глубокие омуты. Верю:
Нигде на земле нет такой глубины,
Которую памятью я не измерю.

Успокоение

Я плыву по течению медленно, медленно.
В небе солнце спокойное, круглое, медное.
Тихо время течёт. Проплывают века.
Ты меня возвращаешь к себе изначальному,
одинокому, чистому, светло-печальному,
к «не горюй» ветерка, к «улыбнись» поплавка.

Вот и детство моё. Я присяду под деревом.
Посижу, похожу по минутам потерянным,
всё вернётся, я верю, надеюсь и жду.
Так зерно возвращается с поля озимого,
из пустого, холодного, невыносимого,
преломляя пространство, ломая беду.

Есть у каждого в жизни свой пункт назначения.
Реки будущим полнятся. Вниз по течению
счастье, радостно медля, излуками плыть.
Слышу гул из глубин недалёкого будущего.
Жизнь согрета желанием света. Я буду ещё
черпать небо ладонью и медленно пить.

Время падения звёзд

В начале августа, во время звездопада
Услышал голос я: «Взгляните на меня!»
Звезда, мелькнувшая над яблоневым садом,
Ушла в антоновку молекулой огня.

Желанье загадай! Желанье загадаю,
След света отыскать над вечною росой, –
За Летой, за рекой, за лесом, за годами,
За сердцем, за судьбой – широкой полосой.

Бесшумный звездопад. Пружинит чистый воздух.
Свет звёздный переходит в яблоневоый сад.
Первостепенное – антоновки и звёзды.
Второстепенное – урановый распад.

В червя ползущего и в дремлющего зверя
Свет превращается, высокий звёздный свет.
Себя измерю я и с мирозданьем сверю:
Нам вместе – тридцать семь и миллионы лет.

Не знаю, как прожил я эти миллионы,
Между тревожных троп, между ревуших рек.
Я в небеса смотрел с улыбкой удивлённой,
Пахал и воевал. И так – из века в век.

И вот сейчас, когда звенят душа и колос,
Из мглы космической летят снопы огня,
Когда я стал звездой, вы слышите мой голос?
И, если слышите, взгляните на меня.

Зерно

Пиши, пиши – всё вытерпит бумага,
но у зерна слова в земле не те;
зерно, себя насытив терпкой влагой,
раскидывает корни в темноте.
Неторопливо и без проволоочки,
непостижимо ясно сознаёт:

защитные от смерти оболочки
оно для человека создаёт.

Растёт зерно. Тяжёлая работа –
расти: дожди секут, а грозы жгут,
бураны суховейные с разлёта
толкают в бездну, скручивают в жгут.
По тверди – тучи-глыбы, вал за валом,
по хляби – искры с дымом пополам;
но, видно, счастье зёрна целовало,
взгляни-ка – живы, ходят по полям.

Корнями – вглубь, а стеблем в небо. В звёздах,
блуждая в мыслях, видел я зерно.
Зачем шуметь, колебля криком воздух,
взгляните на зерно – молчит оно;
лежит в земле, готовясь к правде смерти,
чтоб в смерти к жизни новой прорасти.
Судьбой зерна вы жизнь свою измерьте,
грядущий день попробуйте спасти.

* * *

Здравствуй, моя любимая! За полями, за ветками
Слышишь ли ты мой голос? Видишь ли ты меня?
Словом заветным – радостным, – мне завещано
предками,
Спящими в братских могилах, – выйти к началу дня.
День начинается просто. Зазеленело деревце.
Курица голубая снесла золотое яйцо.
И чернобровой птицей золотокудрая девица
Медленно и застенчиво выплывет на крыльцо.
Всё это с детства знакомо. Прочитано. Пройдено.
Весь утонул во времени наш невысокий дом.
Но остаётся вечное – тайное в имени Родины,

Вера глубокая, поле широкое – в нём.
Нравится высь жаворонковая и синева лебединая,
Даль, где шатается ветер и смеётся вода.
Эти слова, хоть и вечные, – здравствуй, моя любимая, –
Я никому ещё в жизни не говорил никогда.
Слышал, слова стираются от частого употребления,
Изнашиваются, как платья. Это враньё.
Ворону костью в горле радость и удивленье.
Вот почему над нами каркает вороньё.
Есть в моём лексиконе (как драгоценные камни)
«Родина» и «любимая» – радостные слова.
Злым вороньём обкарканные, оплаканные куликами,
Из сердца ввысь поднимаются зелёные деревья.
Здравствуй, моя любимая! Ладонями крепкими
Надо держать нам друг друга, как землю мы держим
свою.

В сумерках молчаливых под тополиными ветками
В круглой холодной росинке я в полный рост стою.

* * *

Вздыхнул – какой вкусный воздух.
Вечно бы им дышал.
Жил бы, мечтал о звёздах
И никому не мешал.

Шёл бы, мыслями полный,
К рекам, где с берегов
Ветры ныряют в волны,
Будто бы тени богов.

Жил бы, вдыхая вместе
С воздухом свет избы,
Что так похожа на пестик,
Завязь и столбик судьбы.

Жил бы, радуясь миру,
Каждой былинке рад...
Что ж ты настроил Лиру –
Жизнь – на печальный лад?

* * *

Шёпот в сухом камыше.
Дерево смотрит с обрыва...
Перевернётся в душе
Радость, как в омуте рыба.

Необходимо теперь
Выбрать во времени место,
Вырвать из плена потерь
Запахи поля и леса

И возвратиться назад,
Прежде чем звонкое слово
Станет молчанием над
Холмиком полуметровым.

Стриж

Пером, обмакнутым во тьму,
Слова, понятные ему,
Писал он на листочке неба.
Слова понятны были нам.
Прикованы к его словам
Равнина, солнце, поле хлеба.

Равнина, солнце и трава
Шептали светлые слова.

И муравьишко с узкой тропки
Смотрел в открытый небосвод,
Где реактивный самолёт
Был взят бесстрашной птицей в скобки.

Дыханье света

Свет начинает снова говорить,
но слушать темнота не научилась
и продолжает шорох туч ловить,
в глухой гордыне пыжась и пучинясь.
Достаточно улыбки – разбудить
печали полноводное волнение;
так начинает сок в стволах бродить
в преддверье неожиданного пенья.

Сок начинает снова говорить,
но крона слушать корни не готова.
В игольное ушко вдеваю нить,
невидимую нить живого слова.
Ты слышишь, в паутине площадей
и улиц – сердце говорит и бьётся
от имени беспамятных людей,
погибших от лучей слепого солнца.

В зловонной жиже светится звезда,
дыханьем света растворяя жижу;
на ветке жизни певчего дрозда
ты видишь? Нет, я никого не вижу.
В игольное ушко продета нить,
связующая каменные числа;
кровь начинает снова говорить,
но слушать я ещё не научился.

* * *

Щебень, труха и валежник,
Всё это видимость, брат.
Спрятался в камне подснежник,
В прахе скрывается сад.

Спряталось всё, что красиво,
От мотыльков до опят,
Чтобы нечистая сила
Не погубила опять.

Спрятались звонкие реки
В жёлтом, как грусть, камыше.
Что-то исчезло навеки,
Что-то осталось в душе.

Но от Кремля до яранги
Весть – от земли до небес:
Скоро поднимется ангел,
В бездну низвергнется бес.

Выйдет из камня подснежник,
Дивный распуститса сад.
Щебень, труха и валежник, –
Всё это видимость, брат.

* * *

Об эпохе молчу,
Время – временем, сам-то хороший?
Если нёс – по плечу
И по росту была моя ноша.
Шёл по тропам кривым,
Отражаясь в извилистых реках.

Я остался живым и не стал дураком
и калекой.

Как тисками зажат
Пережитками, догмами, бытом.
И колени дрожат
Перед знаменем полузабытом.
Я свалить не могу
На чужое плечо свою ношу,
А согнувшись в дугу,
Понесу её сам и не брошу.
Я ребёнка учу
Улыбаться, когда в жизни плохо.
Об эпохе молчу,
Научила молчанью эпоха.

* * *

И тот смолчал, и этот
В предчувствии беды,
На грани тьмы и света
Набрали в рот воды.

Пусть – думал – не вознёсся,
Но не скатился вниз,
И страшные колёса
Не раздробили жизнь.

Цела душа и кожа,
Глаза не выел дым.
И я смолчал. Я тоже
Остался невредим...

* * *

Поэзия, она забыта;
крест-накрест досками забиты
её оконца доброты.
Поэзия, она забита;
её не видно из-за быта,
не слышно из-за нищеты.

Быть может, как во время оно,
её объявят вне закона
за то, что в трудный смутный час
она не спит и спать не будет,
покуда к жизни не разбудит
всех беспробудно спящих нас...

* * *

Все обиды забыл я, и всех я простил,
И надеюсь, они меня тоже простили.
Я живу среди добрых людей и простых,
И в душе моей живы желанья простые.

Я хочу, чтобы дождь надо мной моросил,
Тусклым блеском холодное небо манило.
Чтобы кто-нибудь в гости меня пригласил
И сказал: «Напою тебя чаем с малиной».

В небесах журавля никогда не поймать.
Небу – птицы паренье, а сердцу – незнание:
Что земля – это просто земля, а не мать,
Что заря – это просто заря, а не знамя.

**К юбилею
Александра Михайловича Макарова**

Валентина ДОРОЖКИНА

«Я буду ликовать и петь...»

Фрагмент очерка

Тот, кто любит поэзию, не может пройти мимо сборников Александра Макарова – талантливого, самобытного поэта. Он родился 17 июля 1946 года в деревне Еремеево Староюрьевского района Тамбовской области в крестьянской семье. Стихи начал писать в армии. После демобилизации вернулся на Тамбовщину, работал плотником. Сейчас живёт в селе Вишневое Староюрьевского района.

Первая публикация Александра Макарова была в 1966 году в районной газете «Звезда». Потом стихи его стали появляться в коллективных сборниках, в журналах «Наш современник», «Подъём». Вышедший в 1983 году сборник Александра Макарова «Красный мячик» явил читателям поэта, сумевшего не заёмными, а своими, идущими из сердца словами сказать по-новому обо всём, о чём немало написано и в поэзии, и в прозе. Уже тогда от первых стихотворений Александра Макарова повеяло настоящей поэзией. Ещё не зная основной профессии автора (а он работал плотником), нельзя было не почувствовать в его строчках, словах, образах силу: сказал – как гвоздь забил: надёжно, понятно:

День мой рабочий – дом белостенный.

В доме живу. Я в доме не гость.

День мой рабочий! Я постепенно

Строю тебя. Забиваю гвоздь...

Нашего талантливому земляку заметил известный советский поэт Николай Старшинов, оказавший действенную поддержку Александру Макарову. Старшинов редактировал его рукописи, рекомендовал для участия в VIII Всесоюзном совещании молодых писателей, которое проходило в Москве в 1984 году, а позже – для вступления в Союз писателей России. В 1986 году в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», под редакцией Николая Старшинова, был издан сборник стихотворений и поэм Александра Макарова «Излучина». Факт издания книги в столице говорит сам за себя: поэт из провинции вышел к всесоюзному читателю. В 1988 году его приняли в Союз писателей России. Он заочно окончил Литературный институт имени А.М. Горького...

Поэтический дар самобытного поэта отмечали авторы многих рецензий на сборники Александра Макарова. А после «Излучины» у него вышли ещё несколько поэтических книг: «Светлый час» (1988), «Волшебный корабль» (1996), «Небесный шум» (2001), «Избранное» (2002), «Музыка жизни» (2006). Поэт неоднократно становился лауреатом премий журналов «Подъём» и «Наш современник». Ему присуждена также областная премия имени Е. А. Баратынского.

В книгах Александра Макарова – раздумья о смысле жизни, пронзительные лирические строки о природе и о любви. Читая их, нельзя не почувствовать, что автор – сторонник неторопливой беседы. Несуетной жизни хочется поэту, но современная, подчас бездуховная жизнь втягивает человека в свою беспощадную воронку, и вырваться из неё порой невозможно. Спасает поэзия. И появляются строки, как начало возрождения: *«Всё печальное и горестное/ Нужно временем зашить,/ Подмести себя, как горницу,/ Вымыть, выскоблить – и жить!»* С трепетным чувством любви и благодарности пишет поэт о своей малой родине – селе Еремееве, где он родился и вырос, о реках и речушках, в которых купался и ловил рыбу, о старом доме, вздыхавшем и стонавшем, когда его ломали. Это

ведь та самая избушка, в которой родился Александр Макаров, она уже, по образному выражению поэта «в землю выросла по груди», но «Из её судьбы, из корня/ В высоту, не в пустоту,/ Не травую подзаборной –/ Светлым колосом расту»...

Автор наделяет предметы человеческими качествами, олицетворяет их. Но это не просто литературный приём. Поэт создаёт жизненное пространство вокруг всего, что видит. Вот с каким поэтическим чувством пишет Александр Макаров об обыкновенной траве, по которой мы ходим, топчем её, не замечая и не думая даже, что она – живая: *Растёт, волнуется, жива –/ Всему на удивленье,/ Обыкновенная трава,/ А не трава забвенья.* Автору хочется, чтобы у всех было такое же ощущение жизни, как у него: «Я счастлив, что душа моя болит / За всё, за всё, что Родиной зовётся...» А его родина – и малая, и большая – это лес и поле, это дома и люди, небо и земля. Это жизнь, которую Создатель вдохнул в каждую травинку, в каждую букашку. Это История:

*Руки рек на равнину уронены.
Не разбавлена радость тоской.
Здесь, на этой земле, похоронены
Добрый дед мой и Дмитрий Донской...
Жив я памятью. Памятью Родины.
Больше нет у меня никакой.*

«Памяти грядущего дня» посвящено немало стихотворений Александра Макарова. Это благодарная память человека, который никогда не забудет «отчего порога». В одном из стихотворений поэт сказал: «Есть у каждого в жизни свой пункт назначения...» А в чём сам автор видит своё назначение, мы узнаём из его произведений. Он счастлив талантом, данным ему Богом, счастлив общением с людьми, счастлив просто оттого, что живёт на свете... Стихи Александра Макарова пробуждают у читателя разные чувства, но главное – это вера в добро. Он заражает и заряжает этой верой, и хочется

вместе с ним ликовать и петь, пока не очерствела душа, пока глаза видят первозданную красоту природы, и слух с радостью воспринимает и пенье соловья, и шелест листвы. Лучшие стихи поэта вошли в сборник «Вечная жатва», изданный в серии «Поэтический Тамбов». Думаю, не случайно поэт дал такое название своей книге: ещё в первом сборнике «Красный мячик» опубликовано стихотворение, где есть такие строки: *Пусть будут зёрнами мгновенья,/ Когда нас озаряет труд,/ Настанет жатва вдохновенья –/ И эти зёрна соберут.* У Александра Макарова жатва вдохновения настала. И зёрна его труда – отнюдь не мелкие. Большинство из них – отборные семена, бережно опущенные в благодатную пашню русской поэзии...





Сергей ДОРОВСКИХ

Обещайте, что вернётесь

Военные рассказы

Крещается раб Божий

После Северо-Западного фронта с его дремучими хвойными лесами, безбрежными болотами Украина казалась сапёру Павлу Силаеву землёй обетованной. Утром последнего дня сентября, проснувшись и пойдя в перелесок, он увидел дичку, которая светилась в ранних лучах спелыми, похожими на маленькие новогодние шары яблоками. И он рвал их, неспешно обкусывал, чувствуя вяжущую сладость. Ему казалось, что они выросли в райских кущах. Рядом простиралось большое поле с кукурузой, которую варили, сколько можно было вместить в котелки и вёдра. Раскаты артиллерийского огня были слышны так отчётливо, что знал солдат, куда они направляются и что ждёт впереди. «Ой, Днепро, Днепро, ты течёшь вдали, и волна твоя, как слеза». Эту песню они пели, пока шли сюда многие километры. И Павел нёс в сердце эти слова.

На правом, крутом и неприступном берегу Днепра немцы создали оборонительный рубеж, получивший у них название Восточный вал, и объявили всему миру, что здесь те-

перь проходит восточная граница рейха. Младший политрук Афанасьев рассказывал бойцам, будто Гитлер лично приезжал в Запорожье для проверки готовности Восточного вала. Должно быть, главный фашист считал Днепр природной неприступной крепостью. А значит, нет ничего важнее теперь, чем взять этот рубеж, освободить Украину и двигаться дальше.

...Младший политрук Афанасьев давно невзлюбил Силаева. Было бы за что – тихий, молчаливый парень, который всегда отводит в сторону небесного цвета глаза. А началось всё с того, как Афанасьев заметил в его руке чётки:

– Что ты всё шепчешь, чего ты там перебираешь, солдат? А ну немедленно прячь своё мракобесие! – он помнил эти слова, и грубый тычок в спину. Политрук уже не первый раз придирался. – Заканчивай со всем этим, бойцы видят, поп-попёнок, плешивая башка!

Павел на самом деле быстро облысел, буквально с первых дней на фронте, хотя было ему немногим больше двадцати лет. Однако не указание на этот внешний изъян обижало его.

Павел вовсе не был священником, хотя его дед когда-то служил настоятелем храма в отдалённом селе на Тамбовщине, в тридцать седьмом он был арестован, и с тех пор о нём не было вестей. Именно он обратил внука к вере с ранних лет. Образ деда – спокойного, с широкой бородой, умного и справедливого, навсегда остался в сердце путеводной звездой. Силаев вспоминал его голос, когда шёл в атаку и, был уверен, что отчётливо слышит его тихую молитву над собой в минуты, когда спал, укрывшись плащ-палаткой. Павел видел много крови, отчаяния, но это зло только укрепило в нём веру. И он почти никогда не расставался с дедовскими чётками на сто бусин, читая по ним то Иисусову, то Богородичную молитвы – как учил священник. От этого становилось теплее в груди, даже когда приходилось идти навстречу шквалистому ветру и колючему снегопаду.

Вот и теперь он шёл, под ногами хлюпала вода, небо

отражалось в придорожных лужах. Он знал, почему так зол младший политрук – к Павлу тянулись некоторые солдаты, и хотя Силаев отвечал им, что не имеет к церковным чинам никакого отношения и слаб в богословии, они шёпотом просили его помолиться за родных.

Младший политрук с сарказмом называл Павла за глаза полевым батюшкой, а в глаза только поп-попёнком, чтобы не задавался. Не раз политрук порывался догнать Павла и выхватить у него чётки, но тот словно чувствовал, и быстро прятал их за пазуху. И когда их взгляды сходились, обычно добрые глаза Силаева наполнялись огнём: он без слов, но твёрдо показывал, что, если придётся, то будет драться. Афанасьев отступал, зная, что тихий молитвенник – настоящий боец, прошёл многое, имеет награды. Да и товарищи-защитники у него найдись могут.

Афанасьев был немногим старше рядового Силаева. Краткосрочные курсы младших политруков он прошёл в боях. Пополнение из тыла за счёт выпускников военно-политических училищ приходило редко, и потому решили быстро готовить своих красноармейцев-коммунистов. Он постигал политическую науку в лесу, в землянках, где не было ни классов, ни лекций. По расписанию с курсантами беседовали командиры, комиссары, специалисты родов войск. Учили на боевом опыте. К главному делу – политической работе в роте, приобщался он в беседах с опытным комиссаром Ковригиным, и его живое слово было главным пособием. Вопросов религии касались редко, но Афанасьев и так знал, что с пережитком, который возвращается ввиду масштаба войны, общей трагедии и слабости человека, нужно бороться. Тем более что фашисты в своей пропаганде часто использовали эту приманку, доказывая, что они – освободители земли русской и православной веры, и будто на оккупированных территориях открывают и восстанавливают церкви, помогают простым людям во всём. Афанасьев знал, что поступает правильно по отношению

к Павлу Силаеву. Ведь он не раз пытался поговорить с ним по-товарищески, переубедить, помочь отказаться от мракобесия, но тот словно не слышал.

Тысячи солдат, с разными судьбами и тайнами на душе, двигались к великой реке, и никто не хотел думать, чем обернётся следующий день.

Порой, прочтя пятисотницу – пять кругов молитв на чётках, вслушиваясь в слова «прости меня, грешного», Павел понимал и жалел Афанасьева. Так сильно, что хотелось разыскать его, да и обнять просто, ничего не говоря. Найти с ним мир любой ценой. И знал, как слаб душой, чтобы поступить так. Всё чаще казалось, что до неба, через эту копоть и дым, не доносятся его молитвы, и сомнения окутывали душу мороком. И понимал он, что маловерен и нищ сердцем, в отличие от политрука, у которого тоже была вера, своя, безусловная и крепкая, которой стоило поучиться. Афанасьев предан идее, ни в чём от неё не отступает, и хочет настроить, вдохновить других. Он не всегда был груб. Не раз Силаев замечал, что Афанасьев на самом деле – добрый человек, который, как может, подбадривает солдат, учит их презирать и не бояться врага. И потому жалел его, зная, что вера политрука, как мост-мираж через пропасть, никуда по нему не пройдёшь, а только сгинешь. Нет спасения без Христа, и только через православие – единственный путь на небо. Он верил только в это. И всё же он завидовал энтузиазму Афанасьева. Многие, по сравнению с ним, выглядели подавленными и усталыми, а в глазах будто пропала тяга к жизни. И он, политрук, бодрил их словами, читал вырезки из газет, рассказывал о подвигах на фронтах.

Так они прошли вместе не один километр, чтобы достигнуть реки. Предстояла последняя короткая ночь перед началом форсирования, которое должно было стать неожиданностью для немцев. Они наверняка думали, что советская армия будет действовать в таких условиях, как любая другая: подойдёт, закрепится, постепенно подтянет артиллерию, ин-

женеров. На это и был расчёт – первые лодки отпарятся к берегу врага ещё засветло. Тогда же и начнётся сооружение понтонного моста для отправки главной боевой силы.

У костров, которые спрятали за небольшим ельником, чтобы были неприметны с другого берега, сошлись солдаты, хлебали жидкую кашу. Политрук подошёл к Силаеву:

– Будешь? – он предложил спирта из кружки. Тот покачал головой, отводя глаза. – Прости, кагору нет, не то время.

Афанасьев заулыбался. Он был немного хмельной:

– Ладно, не злись, товарищ, зря отказываешься. Ты хоть знаешь, что нам всем завтра предстоит?

Он присел рядом, плечом к плечу. Увидел в руках Павла чётки, но ничего не сказал:

– Так вот, рядовой Силаев. Ширина Днепра в нашей полосе наступления – два километра, или, может, чуть больше, – он обернулся и стал вглядываться вдаль, хотя во тьме было не различить и кустов. – Даже в мирное время в такую погоду перебраться на другой берег – хитрая наука. Правый берег у немцев крутой, они там надёжно окопались и будут нас лупить из всех орудий. С него отлично просматриваются подступы к Днепру. Левобережье-то наше всё низменное, песчаное, заболоченное. К тому же фашисты постарались тут уничтожить всё, что может как-то облегчить нам переправу. Понимаешь?

Павел кивнул.

– И ты что же, совсем не боишься? – спросил политрук.
– Или ты только страх перед богом имеешь, да?

– А ты боишься?

– Я – нет. Я – коммунист.

– А мне страшно, – ответил Павел. – Я не коммунист, я человек, и мне страшно.

– Ты что хочешь этим сказать, зараза, что коммунисты не люди что ли?

Силаев не ответил.

– А как же вера твоя, сапёр, разве не учит бесстрашию?

– Да, мне страшно, – рядовой поднял глаза. – Предки наши бились, и вели их святые Дмитрий Донской, Александр Невский, со знамёнами православными в бой шли. И, конечно, боялись тоже, потому что люди они простые были. Но шли и победили.

– Вот даёшь! Красиво говоришь, прям, как попы в империалистическую, небось, также пели в уши солдатам! Но это в прошлом было, теперь новые знамёна, за которые умереть не жаль, – ответил политрук. – И мы выиграем эту войну, потому что наши идеи, на которых построено все советское государство – правильные. Вал войны сместился, позади – Сталинград, Курск, а впереди – Берлин!

– Дай хлебнуть! – попросил Павел.

– За победу коммунизма выпьешь? – прищурился Афанасьев. Павел одёрнул руку.

– Ладно, будет. Выпей за свою троицу-богородицу, если хочешь. Сейчас уже поздно тебя просвещать. Но я желаю тебе выжить, выстоять, парень, и чтобы с тобой мы потом ещё не раз обо всём этом поговорили. И прости меня, если я тебя чем обидел, задел.

Павел выпил до дна, протянул руку, и не смог сдержать слёзы после рукопожатия. То, что так хотел сделать он сам как христианин, с честью выполнил коммунист. Всё так быстро произошло, он даже понять не успел.

Афанасьев поднялся:

– Бога нет, но мы победим! – и ушёл спать походкой сильного и спокойного человека.

Павел Силаев опустил голову, бормотал, перебирая деревянные бусинки. Спирт ударил сначала в голову, потом в ноги, сделав их ватными. Вместо спокойствия почему-то пришёл гнев, непонятный и тупой. Ему захотелось найти Афанасьева и ударить с размаху по губам. Почему именно теперь – не мог объяснить. Его трясло.

Он боялся завтрашнего дня, и просил небо, чтобы ночь

стала вечной, и утро никогда не наступило. В ответ ночь взорвалась отдалёнными взрывами. Может быть, бойцы где-то сделали вылазку к берегу и были замечены.

«Даже в мирное время в такую погоду перебраться на другой берег – хитрая наука», – казалось, словами политрука медленно умолкает гул. Потревоженные ночные птицы взметнулись к небу.

Павел ушёл, покачиваясь, его слабая тень промелькнула в свете костра.

Утром его подташнивало. Он будто видел себя со стороны, как с бойцами бежал, на ходу прочитав надпись на большой табличке – «Даёшь Киев!» Рядом лежали длинные брёвна, недавно спиленные и потому тяжёлые, жёлтая мякоть на срубе напоминала сливочное масло. Солдаты спешно катали их, скрепляли проволокой, сверху клали какое-то ржавое железо. Над Днепром поднялся туман, и Павел не знал, к добру это или к худу. Противоположный берег, где пока затаился враг, был неразличим.

Приказали грузиться в большую лодку. Силаев подумал, что повезло – на ней плыть легче и быстрее, чем на плоту или тем более на связке из бочек. Он оказался в лодке, потому что она комплектовалась из двенадцати бойцов, где обязательно должно быть два связиста и два сапёра. На досках посередине надёжно укрепили 82-миллимитровый миномёт. У каждого бойца было оружие, лопата, по несколько гранат и противогаз.

– Главное – не замочить боеприпасы, слышите! – раздался знакомый голос.

Афанасьев тоже был в составе их перегруженного судна. И он скомандовал:

– Вперёд!

Они отошли метров на двадцать. Пока было тихо, враг их не видел.

– Я так понимаю, товарищи, сейчас не теплее градусов семи, а вода и того холоднее будет, – говорил Афанасьев. На

Павла он не обращал внимания, то ли не заметил, а, скорее всего, заранее знал, что им выпало плыть вместе, потому вчера и задавал вопросы про страх, и хотел помириться. – Так что давай поднажмём, и уж чего, а от купания на сегодня откажемся совсем. Верно, товарищи?

– Ещё бы, – ответил кто-то из бойцов, стараясь улыбнуться. Солдатам нравился Афанасьев, его слова и особый боевой заряд. Даже Павла его речь немного взбодрила. Он нащупал за пазухой чётки и осмотрелся – с каждой стороны, впереди и сзади плыли бойцы. Одни гребли вёслами, другие – прикладами винтовок, досками и даже руками, лишь бы ускорить. Сильное течение относило их в сторону, но все знали, что нужно держаться курса.

Враг не сразу, но заметил начало форсирования, и ответил из всех орудий. Афанасьев что-то кричал, но удары артиллерии заглушали его. Одна из мин достигла высоты, со свистом пошла вниз, ударив соседнюю лодку точно посередине. Люди взметнулись, и Павел увидел летящие в разные стороны тела. Другая мина упала, не долетев, перед небольшим плотом по правую руку от их лодки, и мощная волна перевернула слабое судно.

– Гады, сволочи! – кричали наперебой бойцы в лодке Павла.

– Поднажми! – бодрил Афанасьев.

Великий Днепр, разбуженный и разозлённый, будто и не понимал в гневе, кто побеспокоит его, и словно встал на сторону врага. Он налегал мускулистыми руками-волнами, и с каждым новым наплывом лодка качалась то в одну, то в другую сторону, и могла перевернуться. Солдаты продолжали грести, кто чем мог.

Павел с трудом поднял глаза к укрытому смогом, как чёрной подушкой, небу. Прямо на них с рёвом летел «Юнкерс», он чётко различал его крылья, корпус и большие лапы-шасси. Он пикировал, сбрасывая бомбы.

Силаев обернулся. Их лодка оторвалась. Казалось, что

по Днепру начали сплавлять лес, и он весь пестрил чёрными плывущими валунами. Но это были не брёвна, а люди и обломки судов.

– Половину пути почти одолели, – сказал Афанасьев. – И туман, как назло, рассеялся! Ничего, возьмём мы тебя, Днепр, держись, братцы! Только бы до берега, только бы добраться!

– Давай! – раздавались голоса.

В эту минуту и Павел верил словам политрука, чувствовал не только страх, но и гнев. Он представлял, как высадится, почувствует под ногами землю, и вместе с остальными побежит на крутой взгорок. И думал Силаев, что все они стали единым целым, родными братьями, будто от первого до сегодняшнего дня прошли путь вместе, никогда не расставаясь. Афанасьев, осипший и злой, тоже был брат. Их глаза сошлись, и сапёр понял, что политрук тоже знает это. Двенадцать братьев, двенадцать апостолов, идущих по воде, несмотря на ветер и волны.

– Курс левее! – кричал кто-то. – С курса ушли!

Голос заглушил взрыв справа. Все пригнулись. Один из бойцов в лодке так и замер, убитый.

– Ничего, отомстим! – Афанасьева было почти не слышно, голос он сорвал окончательно.

На миг Силаев потерял связь с реальностью и равновесие, словно крылья подняли его к дымному небу. Он увидел широкий простор Днепра, сотни лодок, строящийся вдали, словно тянущий руки от острова к острову понтонный мост, колонну танков и артиллерии – главную ударную силу Степного фронта, ждущую переправы. В небе шёл воздушный бой, и советский истребитель разбил в клочья хвост «Юнкерса». Новый удар, дым и гарь забили нос, и Павел, задыхаясь, освободился от странного наваждения, снова был не в небе, а согнулся в лодке. Он посмотрел на воду, которая вспенилась, помутнела и заалела от крови. Впереди Днепр имел особенно

крутой и высокий берег, напоминая большую, густо покрытую лощиной подкову. Оттуда, редко исчезая, мелкими десятки огоньков – били пулемёты.

Мины летели и летели, поднимая фонтаны. Очередной удар оглушил Павла, он подлетел, и, перевернувшись, ударился головой в воду, уйдя на глубину. Там было гулко, словно он попал в огромную, полную до краёв железную бочку, по которой били со всех сторон огромными кувалдами. Не сразу, но Павел вынырнул.

Ещё на берегу он больше всего боялся оказаться за бортом, но в первые минуты холодный Днепр взбудрил его, и, хотя Силаев ничего не слышал, голова стала необычайно ясной. Он погрёб, и рука схватилась за что-то твёрдое – должно быть, это был большой кусок от кормы лодки. Павел крикнул, но не услышал себя. Затем ещё и ещё. Крепко держась руками, он плавно шевелил непослушными ногами в воде, чтобы хоть как-то плыть, хотя и не знал, куда.

Он почувствовал плавный тычок в бок, словно на него случайно набрела огромная, испуганная бомбёжкой рыба. Но это была не рыба: что-то обхватило его крепко, и резко потянуло ко дну. Силаев попытался отбиться, сучил ногой, чтобы ударить, но только потерял сапог. Вода наполнила рот и нос, пальцы побелели, держась за доску, готовые сорваться. И он стал тянуться, словно выполнял сложнейший подъём на турнике. И когда поднял голову из воды, понял – на нём повис человек. Нащупав его руку, Павел помог ухватиться за обломок кормы. Обезображенная голова появилась из воды, с рассечённым лицом, из которого сразу же потекли струйки крови. Вместо правого уха зияли красные ошмётки.

Рядовой с трудом узнавал младшего политрука Афанасьева.

– П-п-п-помоги, – еле-еле сипел он, не понимая, где находится и с кем. – Я, чёрт дери, совсем ведь плавать не умею.

Павел собрался с силами, обнял Афанасьева. Берег был

метрах в пятидесяти, но как дотянуть до него, да так, чтоб вдвоём с раненым, который не умеет плавать? Что делать там без оружия? Но течение относило их в сторону. Силаев не мог понять, почему, может быть, из-за формы обломка кормы, их постепенно влекло к середине Днепра.

Политрук то терял сознание, то приходил в себя. Павел по-прежнему ничего не слышал. И когда Афанасьев бледнел, глаза закатывались, солдат всё громче и громче кричал, не слыша:

– Это я, рядовой Силаев, слышишь? Держись, мы доберёмся! Все будет хорошо! Соberись же! Ну же!

Но тот ослабевал. Павел тоже погружался в какой-то чёрный сон, и бездна на середине реки под ними словно шептала тихо, манила оставить сопротивление стихии, медленно отправиться вниз, прилечь и отдохнуть на мягком песчаном дне.

Рядовой с трудом сумел немного засучить набухшие рукава – вокруг правой кисти в три ряда были намотаны, как у монаха, дедовские чётки. Теперь не оставалось ничего, только молиться, но не получалось. И он посмотрел на Афанасьева, который упёрся грудью и кое-как положил голову на доску, не в силах держать её. Кровь темнела на гладкой мокрой древесине. Слух не возвращался, и рядовой едва мог понять слова политрука, приглядываясь к шевелению синих губ:

– Знаешь, похоже теперь, твоя правда, – казалось, Афанасьев говорил это. – Я помню, в детстве в церковь ходил, тайно бабка водила, и теперь как будто перед глазами свечи горят, сливаются. В золоте всё, так близко, что хоть руку протяни, и далеко... Господи, спаси и сохрани! Ты... прости меня за всё. Страшно ведь умирать. Мне страшно!

– Ты крещённый? – выкрикнул Павел.

Тот помотал головой и уткнулся носом в доску. Из ноздрей сочилась кровь:

– Бабка хотела крестить, отец коммунист не дал.

– Хочешь?

Афанасьев не понял, или не услышал.

– Хочешь креститься?

В помутневших глазах политрука, кажется, промелькнул огонёк. Дед-священник рассказывал Павлу, что в первые годы христиане крестили сами себя. И во время лихолетья, когда нет священников, или в минуту, похожую на эту, любой православный может совершить таинство.

– Ты готов?

Афанасьев слабо кивнул. Бледный, он плакал, то ли от страшной боли, то ли от иного совсем, от того, что было в его душе.

– Тебя как зовут? – спросил Павел.

– Что?

– Имя, – он знал его только как младшего политрука Афанасьева. Силаев понял, что, пройдя столько вместе, ругаясь и споря, он даже и не знал такого простого, нужного, главного сейчас.

Понимая, что Афанасьев теряет последние силы и ответить уже не сможет, Павел на миг поднял глаза к небу, будто искал ответа там. Но увидел только тьму и ярко-оранжевые трассеры. Рукою, на которой были чётки с маленьким деревянным крестиком, он погладил волосы Афанасьеву, положил руку на дрожащую щёку. Снова взявшись за волосы, он сжал их.

– Крещается раб Божий, русский воин... Иван! – он дал это имя, потому что оно первым пришло на ум. – Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь!

И он трижды погрузил голову Афанасьева. Волны быстро размывали круги на воде. Павел боялся, что тот захлебнётся, но, вынырнув, он ожил, придя в себя, и улыбался. Даже страшное кровотечение на миг остановилось.

– Ну вот и всё, прощай, друг, прощай, поп-попёнок, – сказал еле слышно он.

– Что всё? Держись! – крикнул Павел, пытаясь прижать его к груди. – Нас снесёт к нашему берегу, или к понтонам, там спасение!

Сначала в пучине скрылись плечи, а потом и голова

Афанасьева беспомощно ушла в воду, бледная рука на миг повисла, крепко схватив Павла за запястье. Но не так, как держала раньше, чтобы выжить, а словно на прощание. Через миг она ослабла. Павел видел белое, похожее на камень лицо, которое таяло в глубине, оставляя за собой струйку пузырей.

Павел плакал, размазывая по лицу грязь. Перед глазами плясали странные красные кружочки, будто он снова стоял, как перед боем, у яблони-дички, рвал плоды и смотрел, как осеннее солнце играет в ослабшей листве. Затем промелькнуло детство, десятки зажжённых свечей, будто опять видел спину деда, стоящего перед алтарём. И потом видел Афанасьева, бредущего с ним по размытой дороге, и словно чувствовал его тычок в бок, но другой, весёлый, дружеский, хороший.

В последний раз он оглянулся и, подняв руку к небу, потерял сознание, снова видя перед глазами дикую яблоню.

Павел едва почувствовал удар о что-то. Несколько рук подхватили его, положив на твёрдое, пахнущее свежей смолой дерево. И он, широко раскинув руки и ноги, лежал с открытыми глазами, над ним на миг склонилось лицо солдата, а потом было только серое и бескрайнее небо.

Обессиленный Павел Силаев снова плыл в сторону врага, которого предстояло выбить с неприступного правого берега Днепра.

Обещайте, что вернётесь!

1.

Ун-гер-хан-хан. Ун-гер-хах-хан.

Душно. Как же невыносимо душно!

Он с трудом перевернулся, что-то скрипнуло под ним, вроде бы знакомо, но и непривычно. На миг открыв глаза, Трофим так и не понял, где находится. Веки сомкнулись, и его ку-

да-то понесло. Он видит, как бежит по высокой траве, впереди – отец и двое старших братьев. В льняных рубахах идут чуть поодаль друг от друга. Как принято – рядом. Размахивают литовками спокойно, привычно так. Медленно плывут будто над лужком, ног не видно в предрассветном тумане. За ними брезжит изумрудно излучина реки, на другом берегу сиротеет церковный сруб без купола. Трофим – ещё мальчишка совсем, бежит к ним, кричит, но его не слышат.

Ун-гер-хан-хан. Ун-гер-хах-хан.

Вроде бы косы ходят, а почему же так шумно, гулко и тяжело бьются, словно не по траве, а по камням...

Он спотыкается, долго скользит на коленях по росе, опускается в неё по горло, хватает губами, ловит влагу, но не чувствует ни свежести, ни прохлады. Отчего же так сухо, так гадко, и роса и не роса вовсе, а его же холодный пот.

Ун-гер-хан-хан. Ун-гер-хах-хан.

Он пытается сглотнуть – слюны нет. В горле словно застряли, перемешавшись с песком, осколки стекла. Трофим снова бежит, но теперь он в каком-то другом месте, далеко от дома, похоже, на подступах к Берлину. Он уже не мальчишка, на нём выцветшая гимнастёрка, в руках автомат. Он падает, склоняется к воде, но не видит отражения, а лишь бескрайнюю пропасть и нечеловеческие бездушно смотрящие из глубины глаза. Он жадно, захлёбываясь, пытается пить, но опять не ловит губами влагу, а хватается спёртый болотный дух, захлёбывается, в отчаянии семенит руками. Поднимает ошалелое лицо, с трудом разлепляя спёкшиеся веки, и видит, у реки два течения – в одну сторону плывут убитые свои, а в другую – немецкие солдаты. И все с бледными лицами, пустыми. Он приглядывается: да, именно пустыми. Лица без ртов, бровей, глаз, белые. Совершенно белые, разве что только не светятся.

Ун-гер-ха-хан. Ун-гер-хах-хан.

Опять этот звук – теперь над головой, над рекой, в небе. Что же это? Артобстрел теперь? Но не должно же ведь больше,

не должно! Кончилась война. Или нет? Трофим слышал отчётливо гул и стуки, понимал, что спит. Не раз и не два с ним случалось такое на фронте – когда наблюдаешь затянувшийся кошмар, и хочешь себя вытолкнуть, открыть глаза, но не можешь.

Теперь он провалился опять куда-то, его шатает, перед глазами мелькают сосны. Да, он опять ранен в руку, как тогда, под Витебском, жажду чувствует, а вот боль – теперь почему-то нет, хотя сжимает окровавленный локоть, и бежит, бежит. Да, всё те же сосны. Он поднимает глаза, их верхушки раскачивает ветер.

Ун-гер-хан-хан. Ун-гер-хах-хан.

Сосны будто переговариваются, а он бежит, натывается и бьётся, но не чувствует боли. После каждого удара деревья растворяются перед глазами, взрываются жёлтыми искрами. Рядом никого нет, но враг-то здесь, он чувствует, и потому бежит всё быстрее. Видит мутно цель: прибитый к стволу помятый рукомойник. Похож издали на гильзу от сорокопятки. Трофим падает на колени, отчаянно дёргает клапан-стерженьёк рукомойника, понимая, что тот острый, как гвоздь. Вся ладонь в чёрных кровавых отметинах, а он всё продолжает стучать остервенело. Будь проклят этот пустой рукомойник. Ну же, ну же! Где вода?

Ун-гер-хан-хан. Ун-гер-хах-хан.

Стучат колёса. Это они, они бьются так. Нет, теперь не новая страница липкого, затянутого кошмара. Он действительно разомкнул глаза, и попробовал приподняться на локтях. Старая рана отозвалась. На миг замерев, Трофим опять закрыл глаза. Показалось, что огромные красные ладони накрывают голову, давят на уши, смыкают глаза, и нос, и рот.

Всё, спать больше нельзя.

– Ты чего? – услышал он голос. Вроде бы знакомый. Трофим свесил ноги, посмотрел ошалело. Пахло махоркой и крепким потом, от духоты ломило в затылке.

Он в теплушке, на верхних нарах, так... И едет домой. Из Германии.

Война – позади. Всё встало на места. На миг Трофим задумался: как долго ему будет сниться что-то подобное? Он и не вспомнил даже обрывка от первого сновидения, где отец с братьями косили, их так быстро размазали и очернили остальные. Но и те первые видения были далёкие, грустные, невозвратные. Если и могли размахивать его сродники литовками, то разве что теперь на небе, божьим коровкам бережно подкашивая райское разнотравье.

Трофим повидал многое на фронте, и оттого стал хмур, немногословен. Не узнать в нём того деревенского парня, каким был до войны. В теплушке солдаты постоянно наяривали на гармошках, особенно когда подъезжали к станциям, и там их, победителей, встречали с цветами. Трофим до войны был первым гармонистом, но ни на фронте, ни теперь ни разу не попросил дать в руки хромку. Его ведь раньше называли «слухачом», потому что мог враз подобрать любую мелодию, а теперь, теперь... Оборвалась в душе музыка. И он понимал, что теперь может разве что крепко прилипнуть рваной душой к стакану.

Всё к этому вело. Вот и вчера он серо, грубо так залил душу, и сидел долго хмурый, не обращая внимания на веселие и частые подначивания в свой адрес, пока не уснул.

– Да чего ты? – снова услышал Трофим голос рядом.

– Мы бы это, водички хлебнуть.

– Это можно, сейчас, – сосед шумно отвинтил крышку, из фляжки забулькало, в руку ему вложили кружку. Трофим глотал жадно, кадык ходил вверх-вниз, по горлу потекли холодные струи, освежили грудь. Наконец-то вода – настоящая, будто живая, а значит, он и правда больше не спит.

Он утёр щетинистое лицо, вернул кружку:

– Долго ещё до станции какой, подышать бы, размять ноги.

– А чёрт его знает, едем и едем. Я вот уснуть не могу что-то, – ответил сосед.

Как же его зовут, вспоминал Трофим... Иван, кажется. Точно Иван – не ошибёшься.

– Уже наша земля-то?

– Ага, белорусская, наверное, – собеседник зевнул. – Ты здешний, что ли? Нет? Ну и ладно.

Попробую покомарить.

И, вытянувшись, попутчик протянул, смакуя каждую фразу:

*На войне, в пути, в теплушке,
В темноте любой избушки,
В блиндаже или погребушке, –
Там, где случай приведёт, –
Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,
Примостясь кой-как к друг дружке
Отдохнуть... минут шестьсот.*

– Да, – протянул Трофим. Говорил то ли себе, то ли соседу. – Раньше за счастье, да что там, и поверить был бы не готов, что дадут спать целых шестьсот минут. Откуда их взять столько, половину бы и то... Да и какой там половину! А сейчас... Да что-то не лезет...

Оставалось думать, думать, слушая монотонный шум колёс.

Ун-гер-хан-хан. Ун-гер-хах-хан.

2.

В теплушке их было человек сорок. Спали на грубых нарах, расположенных в два яруса. Не раз и не два Трофим слышал от ребят о том, что, мол, вернёмся скоро по домам, уж там отоспимся на родных печках да постелях, уткнёмся носами в подушки, тёплые, с запахом таким неопишваемым, родным.

Другие мечтали, как на сеновале залягут, где свой дух травный да хруст.

Их всех объединяло то, что не чувствовал Трофим. Они хотели домой. Он – нет, и потому со стороны казался тусклым пятном на их фоне. Не мог разделить радости, добавить горячее слово в общий котёл восторга и предвкушения. И при этом смотрел на попутчиков с теплом, без злобы и зависти, и верил. Верил их словам, что они теперь дома горы свернут, работу наладят, всю землю распашут, и прочее, прочее. Конечно, конечно, а иначе нельзя настраиваться.

А что будет делать он? Что будет с ним? Настанет день, когда сойдёт он – ночью ли, туманным утром, под вечер иль в полдень – неважно, но сойдёт на знакомом полустанке, попрощается навсегда с шумными ребятами, чтобы никогда больше с ними не встретиться. И останется один на один с гнетущими мыслями, памятью, и таким же нелёгким предчувствием свидания, от которого не отказаться, не увильнуть. Свидания с домом. Свидания с родным домом. Свидания с родным пустым домом...

Кем он вернётся, кем пройдёт по знакомым улочкам? Чужаком, пустыми глазами осматривающим округу, где развеяна его молодость? Встречные, должно быть, и не признают его сразу, а представится чужим именем, так и вовсе тогда, наверное... Да и неважно, нестрашно. Другое страшно, и эту картину он представлял не раз. Взгорок, словно подъём на погосте, обросший крапивой, которая плотно обступила родные стены. Встречает его разросшимся войском, клонится на ветру разлапистой пахучей зеленью, норовит уколоть. В душу молчаливо уколоть, будто виноват он в том, что двери и окна забиты наглухо, а в трубе завывает ветер. Нет, всё ж сойдёт он с полустанка под вечер, непременно сложится именно так. Чтобы дом родной встречал как раз в сумраке. И прорываться ему тогда через крапиву и сбивать доски в потёмках. И, когда дверь перед ним со скрипом отворится, потянет сыростью, пустотой.

Нет, он не сможет войти. Не сумеет переступить порог, словно заговорённую линию, как в страшной сказке. Трофим попятится, упадёт в крапиву, будет реветь и рвать, рвать и реветь по-звериному...

Отец и братья погибли в начале войны. Мать постоянно слала письма, перед глазами стояли размытые буквы, красивый почерк – она была грамотной, хотя и окончила всего два класса церковно-приходской школы. Писала неровно, то ли от волнения, то ли оттого, что выплакала глаза. В письмах – одна и та же мысль, что вымолит она его, Трофима, у Бога, раз не получилось других. Читая, он мысленно клялся, что вернётся, обнимет мать, прижмётся к груди. Будет с ней рядом до последних её смертных минут, этому посвятит ей жизнь в благодарность за то, что действительно вымолила.

Её не стало... Возможно, она умерла в тот день, когда его ранило в руку, под Витебском, где в памяти навсегда остались те высокие сосны.

«Богородица услышит, ведь Она тоже мать, она поймёт!» – Трофим не сохранил писем. Не жалел об этом, потому что они были с ним навсегда, каждым словом. Как бы хотелось их забыть, вычеркнуть, и чтобы мама ждала его дома. У окна. Или выходила бы за околицу, в поле, ждала, ждала, глядя на пылящую дорогу, и однажды бы увидела издали его фигуру.

Да, Трофим не сможет войти в родной дом – его встретят иконы тёмно-жёлтыми окладами в углу, давно потухшая, переставшая согревать огоньком лампадка, домотканый серый половичок внизу, где мать часами стояла на коленях, молясь за него... И эти стены, стены. А ещё портреты отца и братьев. Как ему быть там, стоять там, не то что остаться и жить за хозяина...

Порой хотелось, чтобы на какой-нибудь станции объявили, что война продолжается, и нужно поворачивать обратно боем на Германию, или ещё куда. Страшная была бы весть, но не для него.

Он лежал, и думал, думал... Конечно, он нагнал на себя много хмури, и представлял зря, что будет идти по родной просёлочной дороге как чужак. Узнают его, будут рады, и уж что-что, а работа для него найдётся. Так, день за днём затянутся раны на душе, жену добрую найдёт, после войны невесты – товар в переизбытке. Наладится всё, забудется то, что мучает, должно быть, и сны эти, наконец, уступят место другим, тем, что попроще и легче.

Да, работа ему сразу найдётся, и дух перевести толком не дадут. Сразу же председатель к нему на порог. Кто интересно сейчас за председателя? Но всё равно, с уважением так, с поклоном к нему обратится, мол, приступай, Трофим, ждём и просим, совсем рук нет...

Но опять всё та же мысль – как после долгого дня возвращаться домой, где всё равно даже сверчки запечные, и те поют тоскливо о прошлом, о родных... Почему-то вспомнился крюк на потолке, за него раньше люльку подвешивали, всех сыновей, и Трофима последним в ней в своё время качали. Ведь если не перестанет глотать тоска, то перекинёт ведь он верёвку, и, сплюнув, вздёрнется. Рано или поздно. И будет висеть, болтаться, а за окном – темень непроглядная, да дождь шумит, бьёт по лопухам. Портреты, иконы на него смотрят, а он болтается себе один.

Состав замедлял ход. Трофим снова поднялся и свесил ноги. В теплушке уже никто не спал. Курили, переговаривались, только слов не разобрать. Скорей бы покинуть эту опостылевшую духоту. Наконец со скрипом отодвинули двери.

Трофим, схватив вещмешок, где было всё его скромное имущество, выпрыгнул к свежести и прохладе утра.

3.

На вокзале каждого города их эшелон встречали, иногда даже с оркестром. Здесь, в Барановичах, в ранний час со-

бралось несколько десятков человек – в основном женщины и девушки. Они улыбались, протягивали цветы, но их глаза были уставшими. Трофима одёрнула за мизинец девочка лет восьми – она смотрела сверху вниз карими глазами:

– Возьмите, это вам! Спасибо за Победу! – тихо сказала она, протянув букетик одуванчиков. Трофим опустил перед ней на колено, сжал ладонями протянутую руку, поцеловал. Он понял, что девочка собрала эти жёлтенькие головки на тонких ножках здесь же – пустив корни и пробив всё на своем пути, одуванчики поднимались прямо на руинах. Тянули через камни к солнцу яркие головки, прорываясь похожими на ёлочки ладонями-листьями. И Трофим, поцеловав девочку в щёку, принял от неё букетик. Подумал: если и есть на всём белом свете символ стойкости и стремления к жизни, так это одуванчик.

*И девчонки на вечерке
Позабыли б всех ребят,
Только б слушали девчонки
Как ремни мои скрипят!*

Это Ваня балагурил уже со встречающими. Хороший он всё-таки парень, молодец, да и «Василия Тёркина», видно, за годы войны впитал наизусть.

– У нас времени вагон! – поправляя ремень, обратился он к Трофиму, когда отошёл от девчат. Ему, как и другим, надарили цветов, он положил их к общей душистой куче. С задором посмотрел на одуванчики, которые Трофим всё также сжимал в большом кулаке.

– Оказывается, до самого вечера здесь простоим, перецеплять будут. Что ж делать-то тут?

Трофим убрал одуванчики за пазуху, сдвинул пилотку к бровям, и, ничего не говоря, пошёл.

– Ты куда это, а? – окликнул Ваня. – Может, и мне с тобой?..

Трофим не обернулся. Он быстро покинул вокзал, зашагал безлюдной серой улицей.

До войны в Барановичах были новые дома, школы, магазины, театр, электростанция, столовые. Но где – теперь человек новый в городе никогда бы не понял. Планировка едва угадывалась по линиям руин. Серые остовы зданий, пепел пожарищ, сиротские обугленные деревья, едва пустившие робкую зелень... Трофим поправил на плече вещмешок. Шёл уверенно, зная, куда. Нет, он не бывал в Барановичах до войны, не видел город целым. Он освобождал его, и теперь опять оказался здесь.

А значит, должен выполнить обещание. Он свернул в переулок, засеменял мимо разросшихся кустарников с горки по узкой тропинке. Трофим помнил этот спуск, особенно ту минуту, когда был здесь больше года назад. Он с двумя товарищами – бойцом и офицером, останавливался на постой. Их приветила девушка лет семнадцати, она осталась одна с племянниками. Одному было лет восемь, а меньшему – всего два. Выглядела, да и была она для них скорее матерью.

Её звали Тонечка. Малорослая, но крепкая, он вспоминал не раз её широкие плечи, босые ноги. Война сделала её взрослой, глаза строгие, серьёзные, тёмно-карие. Когда они встали на постой, сначала она показалась неприветливой, даже грубой. Только вечером, когда сели ужинать, они с товарищами от души, мыча и отдуваясь, нахлебались наваристого бульона с белым мясом. Не знали и не задумывались, что Тонечка зарезала единственную курицу, и что младших увела в сарай, чтоб те не плакали и не просились за стол.

В тот день, когда они покидали дом, товарищи уже вышли, Тоня подошла к нему близко-близко, и посмотрела в глаза. Девушка до этого не заговаривала с Трофимом, и потому он удивился её словам:

– Обещайте, что вернётесь!

Он, потупив взор, кивнул тогда. Не знал, позволит ли война сдержать слово, но если выживет, то тогда... Трофим без слов понял Тоню, ощутил её всю, как она есть. Может быть, даже полюбил: самому себе в этом он не признавался, вернее,

не называл проснувшееся чувство любовью. Что за почва была для этого чувства, откуда вдруг? Тоня была младше его лет на пять. Она вошла в его сердце и запомнилась сильной и молчаливой. Наверное, до войны она была иной. Как и его, война изменила девушку, не сломала, но потушила внутри радость. Будто водой костёр залить... Надолго, а, может быть, и навсегда.

Трофим не мог знать, что в ту ночь, когда он уснул, девушка долго смотрела в свете луны на его осунувшиеся щёки, высокий лоб, слушала неровное дыхание. Сидела так, не шевелясь. Сколько всего она передумала, и о чём?..

И вот снова знакомый скрип калитки, низкий кособокий домик, тёмные окна, старенький порожек. Он стоял, думая, постучать, или... Но дверь медленно открылась.

Босоногий, похожий на щуплого воробышка мальчонка утёр нос рукавом и пропищал:

– Татъка! Татъка пнишооол! – он действительно напоминал птенчика: прыгая со ступеньки на ступеньку вниз, засеменил на тонких ножках, но мимо Трофима:

– Тоосенькааа, я с порога пописать хотел, а тут тьяя-ятъка! Тьяяятъка пнишоооол!

Трофим побежал за ним, поймал на руки. Мальчик засмеялся, прижался к щеке, указывая пальчиком вперёд:

– Туда пайшли! Тосенька там, с бааатом!

За домом начинался небольшой огород. Сутулый щуплый парнишка в картузе неумело ворочал лопатой, захватывая небольшие комья, а Тоня, широко расставив ноги в междурядьях, бросала зеленоватые, обваленные в печной золе половинки картофеля. Услышав младшего, хотела разогнуться, но, держась за спину, невольно качнулась.

Распрямившись, посмотрела на Трофима, а он, держа мальчика, на неё. Побледнела. Показалось, будто у неё дрогнули губы. Старший повис на лопате, с открытым ртом глядя на гостя. Тоня вытерла руки о передник и пошла к Трофиму.

Поравнявшись, глядя в глаза, протянула ладонь:

– Рада видеть вас, товарищ Волков...

Казалось, что сказать она хотела другое.

Трофим раскашлялся. Не знал, что и ответить. Не пороть же ерунду о том, что, мол, пришёл, как обещал.... Проведать, так сказать, и всё такое. Но говорить не пришлось:

– Что ж я стою, глупая, вы же с дороги, устали, голодны, проходите быстрее в дом!

И тут Трофим смекнул:

– Да какой! Петруха, ты что повис-то, а? Ведь тебя Петрухой звать? Помню, не серчай! Ну-ка, давай лопату, здорова-та она для тебя будет, а мне – самый раз. Уж я разомнусь, а ты не зевай, знай – бросай картоху-то!

– Не стоит, что вы! – попыталась вставить Тоня, но Трофим уж давно опустил на землю младшего и откинул к груде семенного картофеля вещмешок.

Решение помочь с посадкой пришлось кстати. Есть время осмотреться, отдышаться, что ли. Он не мог ответить самому себе, для чего пришёл? Только ли выполнить обещание, отчитаться, так сказать. Или нет? Чем быстрее работал, тем чаще билось сердце. Билось так, как когда-то давно, словно забыло и вспомнило, что так можно. Резко, живо, по-доброму.

– Плетень-то я, смотрю, совсем покосился, – сказал Трофим, когда они остались вдвоём.

Тоня унесла младшего в дом. Тот всё твердил: «Тятя, тятя пнишооооо!»

– Плетень-то да, худой, – отозвался не сразу Петруха. Он старался не смотреть на гостя, басил голосом – хотел казаться взрослым. – Я всё хочу его поправить, руки не доходят.

Работа шла споро, Трофим чувствовал, как отзываются мышцы на простую крестьянскую работу:

– Такой плетень, Петро, не править надо, а валить к чёрту, жечь, и ставить по-новому, – он отдышался, смахнув смешанный с пылью пот. – А лучше не плетень, а хороший красивый заборчик справить, чтобы на века. Как думаешь?

– Да отгораживаться не от кого уж давно стало, – буркнул тот.

– От отца вестей не было? – Трофим спросил, и подумал: стоило ли?

Ведро невольно выпало из руки парнишки, ручка звякнула:

– Была, что ж сказать... похоронка была. Втроём мы остались, выходит. Вот. Ничего у нас больше нет.

Разговор не шёл, в отличие от работы. Управлялись быстро. Трофим присел у бочки, и Петруха смотрел, как тот скручивает сигарку:

– Отец тоже курил.

– Ты, главное, не начинай. Я бы знал, что такая штука приставучая, нипочём бы не начал...

Одно только хорошо – тягу поесть отбивает. Часто помогало на фронте.

Когда закончили, пошли в дом. Трофим подхватил вещмешок, и шёл чуть поодаль, смотрел на сутулые плечи мальчика. До чего же исхудал пострелёнок, подумал он. Ему ж лет девять, или десять, а кажется на семь. И вдруг ощутил странную, непонятную пока близость, будто Петька этот – не чужой. Вот обернётся сейчас, и обратится:

– Тятя, а знаешь!..

«Что за ерунда в голову лезет? С устатку, что ли?» – думал Трофим, подходя к порогу. Петя вдруг отпрянул, спрятавшись за его спиной. Их встречали несколько женщин и старик. Последний был особенно колоритен – подтянутый, в фуражке с козырьком и оловянной кокардой, в выцветшей гимнастёрке времён империалистической войны.

– Здравствуйте! Вам что, товарищи? – спросил Трофим так, будто был хозяином.

Дед отдал честь:

– Да вот мы, как обратили внимание, так сказать, что солдат, мол, идёт, да так и собрались, – начал он. – Видим, что к Тоньке. А у неё ить, у бедолажки-то, шаром покати. Бедняжка

она у нас совсем. Вот мы и собрали молочка, налистичников принесли. Уважь стариков, прими, солдатик!

Женщины протянули ему кувшин и тёплый свёрток:

– Прими, солдатик, от души!

Он поблагодарил, но тут женщины заголосили, он разбирал лишь обрывки слов. Не служил ли он с таким-то, и не слышал ли о таком-то? Трофим виновато откланивался, благодарил снова и снова, а сам пятился к двери. С трудом распрощался:

– Ух, целая делегация встретила! – сказал он Тоне. Та возилась у печи. Когда подошла, Трофиму на миг показалось, что у неё заплаканные глаза. А может, от огня, кто их женское племя разберёт?

Сидели за столом. Тоня, положив голову на ладони, молчала.

«О чём-то ведь молчит! – думал он, пережёвывая картофельный налистник с пучком лука. Мальчишки тоже были тут, но ничего не трогали.

– Налетай давай, хлопчуны, что чубы повесили? – сказал он.

Тоня дала им что-то со стола, но строго велела бежать к печи.

– Меньшой меня за отца принял, верно? – спросил Трофим. Она кивнула, не глядя. Дверь скрипнула, с улицы по-хозяйски зашёл кот, недовольно посмотрел на гостя. Вальяжно направился под стол, Трофим почувствовал лёгкое касание пушистого хвоста.

– Разжирел на мышах! – засмеялся Трофим.

Тоня улыбнулась слегка, покраснела. Сказала не сразу:

– Спасибо, что сдержали обещание, я так рада, что вы живы, что вы – здесь, у нас, – она помолчала. – Вы ведь с поезда, домой едете, да?

Он кивнул с набитым ртом, стараясь прожевать бы-

стрее. Неловко как-то – не ждал, что она будет спрашивать.

– А далеко вам до дома?

– Угу, – протянул он, а потом почему-то покачал головой, так что не понять.

– Рада, рада за вас. Ведь вас ждут родные? У вас всё хорошо?

– Да, конечно, ждут. Все ждут. Родные... невеста тоже ж поди заждалась.

Он и сам не понял, как и откуда вылетела эта фраза. А вот вылетела и звякнула, как железка. Когда произносил, думал, что шутка должна получиться. Лёгкая такая, для разговора.

Однако закончил жевать, сжал кулаки. Не смешно получилось. Лицо потемнело, по щёкам заходили желваки. Кто ж внутри и за какую такую нитку дёрнул? И понял – сидит там, на дне души, трус, который не может открыто говорить людям правду о том, что остался один. Лучше вот так вот – шуточками вилять. Спиртом в одиночку заливать, или ещё как...

Трофим сглотнул, и вновь ощутил сухость, что донимала в хмельной полудрёме на подъезде к Барановичам. Он откусил от горбушки, и каждая крошка была, как песок, перемешанный с осколками:

– Тятя, тятя! – подбежал меньшей, попросился на колени. Стал щупать, звенеть медалями, радуясь их блеску.

Лицо Тони казалось каменным, неживым. Она не смотрела, ничего не говорила. Потом принялась убирать со стола. Петька, кажется, услышал его слова, и потому лёг у печки, отвернулся, хотел казаться спящим. Младший тоже сполз, засеменил ножками по узкому половичку, затих рядом с братом.

Тоня отошла к старому трюмо, долго поправляла платок. В тишине слышались отдалённые звуки вокзала. Они напомнили, что пора возвращаться.

4.

Он взял вещмешок.

«Нелепо, неуклюже всё, нелепо, неуклюже всё» – крутилась мысль у Трофима.

Тоня протянула руку:

– Спасибо большое, что навестили нас, товарищ Волков! Спасибо вам за Победу! – она подбирала слова. – И за то, что на огороде помогли управиться – тоже... Да о чём я! – девушка подняла глаза. – Я просто хотела сказать, что по-настоящему счастлива, узнав, что вы живы, товарищ Волков! И, когда только вы увидите родных, обнимите их! Особенно прошу, обнимите вашу маму за то, что она родила на свет такого замечательного человека, воина! Руки её обязательно расцелуйте! И обязательно скажите, пусть мама знает, что далеко-далеко от ваших родных мест есть такие вот Барановичи, и живёт там Тоня с мальчиками, которые вечно будут ей благодарны за сына! Вечный поклон ей! – голос её задрожал.

– Тоня, Тонечка, не надо, нет, не надо, что вы, – бормотал он.

Какие чистые, светлые слова! Но прожигают насквозь так, что бери себя за шкуру, и бей, души-калечь отчаянно, как заслужил! Рви и мечи – виноват, трус, самый настоящий трус, лжец и...

Как же он себя ненавидел! Родные, мол, ждут его, мать, невеста... Это ей он наплёл, это ребятишкам, что в углу притихли. Им?!

– Спасибо, Тоня, мне пора, – он перекинул через плечо вещмешок. Опомился, снял. – Какой же я всё-таки, совсем растерял память, у меня же гостинцы! Вот, берите, тут много! Шоколад – сладкий-пресладкий! Из Берлина везу. Трофейный. Ребята подошли к сестре, встали за спиной, смотрели на стопку плиток молча, безучастно.

«Наверное, и не знают, что это такое, шоколад-то», – подумал Трофим, комкая в руках вещмешок.

– Ну вот, прощайте, ребятаки, пора мне, – он спустился с порога, и пошёл.

Не оглянулся. «Нелепо, неуклюже всё, нелепо, неуклюже всё», – чиркали друг о друга его истоптанные кирзачи.

Тоня взяла младшего на руки, смотрела вслед. Петька тоже провожал молча:

– Что, тятяка уходит, да? А посему? – спросил маленький, и заплакал.

«Нелепо, неуклюже всё, нелепо, неуклюже всё».

Всю дорогу до вокзала он смотрел под ноги. Почти никого и не встретил на пути – из шестидесяти тысяч людей, что жили в Барановичах до войны, до победного дня дожили от силы четыре... Грустное местно, разруха. Только теперь понял до конца: тяжело, как же тут тяжело! Даже воздух тяжёл, ложится на плечи, и придавливает к пепельной земле. Или это просто к дождю так умаривает?..

Оставалось только дожидаться, когда же он покинет эти чужие места. Наверняка товарищи разжились спиртом, или у кого осталось. Поскорей бы залить душу, а то горит. Нехорошо. Сам себе не мил. Даст бог, скоро отпустит эта боль.

«Нелепо, неуклюже всё, нелепо, неуклюже всё».

И зачем только растеребил душу себе, да и ребятам тоже! И особенно Тонечке. Может быть, не всегда стоит выполнять обещания? Лучше уж никак, чем так.

«Какая же я всё-таки скотина», – подумал Трофим, сидя на груде камней, закуривая и глядя на вытянутую цепочку вагонов. Людей много. Вновь веселие, которое он не мог и не хотел разделить. Голоса, шум. Теплушки, почти над каждой какой-нибудь плакат, белым по красному: «Мы – из Берлина!», «Мы волю народа исполнили свято, теперь уезжаем до дому, до хаты!» Вот и гармошки запиликали, гвалт всё громче:

– До дому, до хаты, – прошептал он, и раздавил окурок. Опустил глаза – из-за пазухи торчал помятый букетик одуванчиков. Трофим сжал его в кулаке, словно взял за горло.

Поднял глаза – свинцовые тучи плыли на восток, в сторону его далёкого дома. Пустого дома.

– Трофим, ты никак наклюкался, идти не можешь, что ли? Чего это развалился, размяк-раскис, не боец прям, а нарцисс! – попутчик его Иван был навеселе. – Поднимайся, давай помогу тебе запрыгнуть, а там уж отоспишься, братец, оклемаешься. Ну чего ты сопли повесил? С цветочками ещё так сидишь, цыпа...

Он поднял глаза, но посмотрел мимо, вопрошающе. А, может, всё вообще приснилось? Ничего не было. Вообще – это затяжной сон, который просто никак не хочет кончаться. Но вот-вот откроет он глаза дома, и окажется, что мать блинчиков напекла. Отец с братьями с покоса пришли. Молоко на столе. И главное, не было этой проклятой войны.

Трофим не выдержал, зарыдал. С первых дней войны такого не приключалось.

– Ну-ну-ну, чего это ты, товарищ? – его окружили, трогали за плечи. – Вставай-вставай! Он из какого? Кто знает?

– Да я его знаю! Всё хорошо, – голос Ивана слышался, будто в отдалении.

Из последних сил Трофим дал понять, что догонит.

– Я тебя понимаю, у самого ком в гортле постоянно, показаться слабым только не хочу. И ты держись, держись! – прошептал его попутчик. – Всё прошли, всё позади, теперь только вперёд, к хорошему! Ты не стесняйся себя!

Иван ловко запрыгнул в теплушку, помахал призывно рукой. Трофим чуть улыбнулся сквозь слёзы, закивал:

– Ты не дури, давай-давай, ведь уже отходим! – он едва услышал в шуме трогającegoся эшелона.

Состав медленно уходил – в ту сторону, куда уплывали тучи. Он снял пилотку, утёр лицо. Начался тихий весенний дождь, капли стучали по плечам, мочили слипшиеся с проседью волосы. Тёплый, хороший такой дождичек. Но его знобило, плечи тряслись.

Одуванчики выпали из ослабевшей руки. Вечерело. Вокруг – ни души, только он, Трофим, его мысли, и дождь.

«Нелепо, неуклюже всё, как же всё...»

– Даяядь! Тять!– Петруша, сутулясь, стоял робко, большой нелепый картуз промок, с козырька капало на щёки. Он тербил довоенный отцовский плащ. – На, возьми!

Трофим обернулся – в нескольких шагах, неловко пряча, стояла Тоня с ребёнком на руках, облокотилась на столб, и молчала.

– Мы это, проводить тебя пришли... Но лучше... лучше пойдём домой! Сестра вон, смотри, плачет. Она же... Ведь ты же обещал вернуться! Ты чего это?

– Ничего, – Трофим встал и прижал мальчика, укрыл плащом. Посмотрел на Тоню. Они молчали.

Отзвуки грома уходили на восток. Разрушенный город умывался дождём.

Каждым брёвнышком...

Журналисту Алексею Королькову, рассказавшему историю деревянной церкви села Чемлык

Уснуть перед рыбалкой удаётся редко. Да почти невозможно, и это подтвердит каждый, кто заражён рыболовной страстью. Даже если заставишь себя уткнуться в подушку – ничего не выйдет. Разве что забудешься на час-другой, и то – сном липким, беспокойным. Промаешься, как на иголках. То ли спишь – а то ли нет. А перед глазами уже видишь место, куда собрался ехать. И даже если там никогда не был, оно от этого только ярче и заманчивей представляется. Вот и про Бурцев пруд, куда я собрался, знакомые рыбаки рассказали много историй, которые будоражили теперь и без того подстёгнутое воображение. Как водится, передали в красках: были колле-

ги-рыбаки там недавно, и поймали столько, что едва до машины донесли. Чистили потом до глубокой ночи, а у карасей, по их словам, жир с хвостов капал...

Вот и лежи теперь в грёзах; ты вроде бы ещё дома, а на самом деле – уже давно весь там, у воды, и видишь даже, как стелется лёгкая дымка. Представляешь: удочка готова, леска срывается с ладони и уходит вперёд, груз уносит извивающегося червя на дно, где замерли в ожидании похожие на поросят бронзовые караси. Это они роются по дну, поднимая на поверхность пузыри, их там так много...

И знаешь, знаешь конечно, что будешь жалеть потом, что лежал, грезил, не спал. Но и уснуть – выше твоих сил...

Опытные ловцы редко сдают рыбные места – потому что потом туда съедется весь город и округа. Но место, куда собрался, назову. Бурцев пруд находится в маленькой деревушке Чемлык в Мордовском районе, что на границе Тамбовской и Воронежской областей. В такую даль меня раньше и не заносило, но рассказы друзей оказались такими заманчивыми, что я отважился ехать за сотню с лишним километров. А вдруг повезёт? И это «вдруг» рисовалось в таких красках, что я, устав мучиться, встал и завёл машину, поехал навстречу призрачной рыбацкой удаче...

Хотя ехать было и далеко, прибыл я на место всё равно затемно, так что округу толком не рассмотрел. На ровной глади пруда отражалась луна, в кустах стрекотали насекомые. Я спустился, разложил снасти. Ловить было ещё рано, но долго ждать не пришлось – летом светает быстро. Забросил сначала одну, а потом все три удочки, затем настроил донку. Обложил вокруг, как заправский карасятник. Замешал прикормку, щедро накрыв рыбе «стол». Время потекло медленно...

«Вот сейчас, нет, сейчас! – думал я, глядя на неподвижные поплавки. – Должно же!»

Бывает же так! Утро – идеальное, ни дуновения ветерка, солнце вот-вот поднимется, слышится мычание коровы

вдалеке, звук мотора – наверное, завели трактор. Всё прекрасно! Вода – как стекло, красота и безмятежность... которую, видимо, не хотят нарушать и рыбы. Замерли себе неподвижно на глубине...

Ближе к девяти утра начало припекать. Так и не увидев ни одной поклёвки, я закивал носом. Этого и следовало ожидать: я же не спал всю ночь! Вчера с раннего утра и до вечера был на работе, провёл несколько встреч, объехал город из конца в конец. После играл с сыном, а когда уложил спать, стал перебирать снасти. Итого – двадцать пять часов уже на ногах... Эта цифра будто бы ещё сильнее надавила на голову. А ведь ещё надо возвращаться домой! Пустым, уставшим – если рыбалка не задалась, ты всегда немного разбит, подавлен. Ожидания ведь не сбылись, и тремор в руках был напрасным... Не хватало только уснуть за рулём...

Я нехотя поднялся со стульчика, размял плечи, и голова неприятно закружилась. Нет, надо где-то прикорнуть. В машине не вариант – там сейчас душно, и открытые окна не спасут. Оставив удочки, я поднялся по косогору. Когда приехал, в темноте не рассмотрел место, а ведь я ловил неподалёку от старого кладбища! И совсем близко от себя заметил большой прямоугольник земли – что-то похожее на старый фундамент. Может, тут и было какое-то строение, только очень давно. Место это почему-то мне показалось привлекательным, и прилечь именно там само пришло на ум. К тому же на взгорке приятно обдувал ветерок, а разросшиеся кусты давали тень. Этот ветерок будто пел, шептал, перебирая невидимыми пальцами листья, манил мягким и, казалось, знакомым голосом – приляг, приляг...

И я повалился на спину. Сразу стало хорошо и спокойно, словно погрузился в перину, хотя лежал я на пружинистом клевере. Недолго смотрел сквозь листву кустарника на бирюзовое, без единого облачка небо, и не заметил, как погрузился, вернее даже, ушёл в сон.

Показалось, что меня немного покачивает. Так бывает,

если прилечь сморённым на дно лодки. Только это покачивание было другим, особенным, приятным и безмятежным. Так, должно быть, чувствует себя грудничок в колыбели. Он не может понять, кто склонился над ним, но чувствует, всё чувствует. Над ним – кто-то. И этот кто-то – большой, добрый, дарит любовь и тепло, успокаивает, и поёт, поёт чуть слышно. И я тоже слышал пение сквозь ровный стрёкот кузнечиков – голос был нежный, радостный и грустный, близкий и бесконечно далёкий одновременно. Я улыбался, жмурясь, и мне хотелось, чтобы этот миг растянулся навечно.

Никогда раньше я не ощущал себя таким защищённым, умиротворённым. Словно оказался в больших тёплых руках, летящим в искрящуюся, завивающуюся, уходящую в небесного цвета спираль бесконечность.

Но эту тихую радость прервал звук – будто где-то звякнуло железо. Такой звук бывает, когда поднимают ведро из колодца. Захотелось выпить холодной воды, но я продолжал плыть во сне. Окончательно меня выдернул женский голос:

– Вставай, давай-ка! Не нужно тут спать!

Я очнулся, приподнялся неловко на локте, и осмотрелся. Картина перед глазами была нечёткой, но вот я различил рога, жующий розовый рот, белую бородку с запутавшимися былинками. Неужели это говорила козья морда, или я по-прежнему спал?

– Вставай! Пьянай? Ай как нехорошо-то! Молодой ведь совсем! А ну не спи тут пьянай! – голос наседавал на высокое деревенское «ай», произносимое так привычно, по-тамбовски. Было в нём и осуждение, и что-то милое и близкое, тёплое. Словно это говорила моя покойная бабушка, которая всю жизнь прожила примерно в такой же деревне.

Я поднял глаза выше, и увидел сквозь листву старушку в белом платочке. Она держала козу на цепи, словно собаку.

– Здравствуйте! Нет, я не пьяный, я же на машине, вон стоит! Я, это, на рыбалку приехал, сморило меня немного... не спал ночь, и вот.

– А, раз не пьянай, тада ничаво, – сказала бабушка. – Тада отдыхай себе, сынок.

Я поднялся – спать больше не хотелось. И впервые – да, впервые за всю жизнь я почувствовал такой небывалый прилив сил! Я не просто выспался – отдохнул так, словно меня не трогали добрую сотню лет! Сил было столько, что хотелось прыгать, или даже пробежаться вокруг пруда. Старушка же отошла к овражку – подальше от могил и места, где я лежал, и там намотала цепь на деревянный столб. Мне казалось, она всё время раскланивается и шепчет что-то. Я различил:

– Пасись, детка, пасись с Богом!

Я встал и подошёл:

– А почему вы говорите, пьяному нельзя тут? Просто интересно.

Она не обернулась, занятая козой, но ответила:

– А как можна-та, сынок, ведь на ентом самом местечке церковь стояла! Где алтарь был, почитай, ты там и спал! Хорошо спалось-то?

– Хорошо, бабушка. Никогда так не спал!

– Это славно, – она распрямилась, но осталась сгорбленной, и, повернувшись, перекрестилась трижды. – Стало быть, человек ты добрый, хороший, раз мирно спал. А то был тут случай, когда сама матушка-Богородица проказникам глаза на их грехи-бесчинства открыла!

Понаехали тут, раз дело было, одни, рыбачки тож, но не как ты, те с сетями, с музыкой громкой, угли свои жгли чуть ли не на могилах. А потом, негодники такие, мусор весь – бутылки энти, огрызки, прямо на место церковки и побросали, оставили. Я собралась утром было прибраться за ними, грех-то какой. А смотрю – ещё рано, а один уж прикатил, сам всё спешно пакует. А главное – бледный, лица на нём нет. Меня увидел, и как есть всё рассказал: мол, приехал домой, спать лёг, и видит, как черти его жарят, сами подхрюкивают, молодец, говорят, хороших дел наделал! Бесам на радость в храме нагадил!

И бросают, бросают ему в сковородку энти бутылки пивные, а они плавятся, змеюками обращаются. И будто рука женская – красивая, мягкая такая, говорит, но сильная, его оттуда и вытащила. А потом голос он слышал. И как был – сюда сорвался, срам свой убрал, крестился. Кто знает, может, вразумился человек. Если в церковь начал ходить – так вообще, дорога ему тут открылась! Нет церкви, а вишь, как помогает!

Она замолчала, и я задумался над её рассказом – правда, или вымысел?

– А я вот, когда уснул, показалось, пение услышал...

– Ежели так, молись, сынок, удостоился ты! Мне батюшка сказывал, из соседнего села, там церковь недавно восстановили, мы туда ходим, что у Господа Бога нет храмов забытых и оставленных. Порухенная, поруганная она если даже – церковка-то, или даже нет её совсем, как нашей, а неважно. Батюшка говорит, что посылается ангел небесный, который в этом храме службу постоянно служит... незримо служит! Потому и место святое! Было и будет! И тут тоже, сынок, тоже.

– А что же, бабушка, храм этот, наверное, при большевиках разрушили?

– Зачем при большевиках, нет, – ответила она. И задумалась, глядя вдаль. – Я ещё девчоночкой совсем была, а церковь-то эту помню. Я же до войны родилась. Мама меня сюда водила. А потом война... Фашист к Воронежу подошёл, один берег занял. Воронеж-то – он по два берега стоит. А от нас он – не то, чтобы рукой подать, да близко. Все боялись – возьмёт фашист Воронеж, проглотит целиком, и тогда уж и на нас пойдёт. Всем, чем могли, помогали. Вот и решили тогда то ли люди сами на сходе, то ли власти так сообразили, уж не вспомнить. Но церковь нашу тогда разобрали, и пошла, пошла она, матушка, по брёвнышку туда, в Воронеж пошла, в самое пекло.

– Сожгли её, что ли?

– Да зачем? Я-то толком не скажу, не разбираюсь я, старая, куда мне. Но брёвна-то – они ведь нужны были для оборо-

ны, для окопов, что ли. Чтобы стрелять удобно было, во врага точно метить. Вот ею, матушкой, окопы наши в боях за Воронеж и укрепили. Так и полегла она там, людей защищая. А вот помню ещё, при советах дело было. Может, при Хрущёве. Тогда за леригию опять крепко взялись. То подотпустили малость, а затем опять крутить начали втугую, леригию-то. Приезжал к нам, значит, с лекцией тогда один, вёл борьбу, атеизм ропагандировал. Вот стоит он, в клубе-то, ропагандирует, и говорит, мол, церковь не воевала! Это нам-то он говорит! Мы то ж про себя знаем, ишо как воевала – наша-то, да каждым брёвнышком! Каждым брёвнышком! Мы смолчали, чего там. Человек городской, учёный, что с ним, с дураком, в споры вступать. А про себя-то знали – то-то!

Она подошла к месту, где была церковь, поклонилась. Мне показалось, что и кустарники поклонились ей в ответ:

– Мама моя тут похоронена недалеко, сто годков прожила... Ох, помню, как же она плакала, когда церковь ломали, и до того ж родимой больно – на мужа похоронка, на сына тож... А потом всё ждала, ждала, может, придёт денёк-то, когда церковь нашу заново поднимут. Так и не дождалась. Я теперь вот за неё жду. Сама себе говорю – не помру, пока не дождусь. Мож, дождусь я, а? – она утёрлась узелком платка. – Ведь у соседей-то – хорошо, церковь-то построили наконец. А нам бы свою... Раз у них можно, стало, и у нас... Хотя сколько нас тут осталось-то.

Потом она долго молчала. Мне показалось, что последние слова она говорила не мне, а обращалась к высшим силам – просила их о чуде:

– А у тебя, сынок, как, лавится? – она повернулась ко мне.

– Да всё хорошо, бабушка. Я вообще рад, что сюда приехал.

– Ну и сиди себе, милый, лови! Мы хоть и живём на краю, да к нам часто ездят. И лавят, вроде бы.

– Я слышал.

– Ну-ну, милый, ну-ну, – и она пошла, всё также кланяясь всему, что видела. Даже козе. – Пасись, милая, пасись, Господь с тобою!

Она шептала. Должно быть, это были молитвы. Ветер уносил их вдаль, поднимал к небу.

Уносил, словно белоснежные былинки одуванчиков.

Такие же белоснежные, как и цвет её заплаканного платка...

Только бы выжить

Я очнулся, долго лежал и не мог вспомнить, что же со мной произошло, почему бинт неровно заходит на глаза, и где я? Не могу пошевелить даже головой.

Первыми почему-то приходят обрывки не недавней, а довоенной жизни, которые кажутся такими далёкими, мутными. Учёба, женитьба, рождение сына – всё это было как будто бы и не со мной. Помню, что зовут меня Роман Васечкин, родом с Тамбовщины, жена моя – Маша, сын – Толик.

Но почему же я здесь? И где – здесь? Кажется, госпиталь... Как душно!

Закрываю глаза, и всё трясётся, бежит, плещется будто. Вижу впереди спину политрука Семёнова, он вроде бы кричит, но голос до меня не доходит, сливается с общим гомоном и глохнет, обрывается. Обрывается всё, глохну и я, падаю, словно лечу с кручи, как когда-то в детстве прыгал с яра у реки Цны. И вот я – в какой-то тёмной пучине, различаю лишь травинки, цветок клевера – розовый такой, наивный, но весь в копоти. И он становится темнее, словно наливается густой кровью, и всё вокруг тоже темнеет, темнеет...

И вот я опять здесь, словно вынырнул и не могу отдышаться. Ничего не понимаю, и только нюх меня не подводит: отчётливо различаю запахи спирта, серы, и ещё почему-то –

чеснока. Тонкий такой, навязчивый, но хороший запах. Нездешний, и даже родной. Как давно я не ощущал его! Так пахнет наш дикий чесночок, черемша, если вырвать его и пожевать. Землистый, сырой от него дух... Я почти забыл его, а он вдруг вернулся.

Мне казалось, что тишина повисла в воздухе – тревожно и долго. Или слух не сразу возвращался? Но тишь прервалась, сменилась тревожным нарастающим гулом...

Бомбёжка! Это бомбёжка!

Я в госпитале, и его сейчас накроет, глухо и тяжело! Это понимание окончательно вернуло меня, но попытка пошевелиться привела лишь к боли. Словно всё моё тело было усыпано острыми осколками, которые не давали о себе знать, если лежать спокойно. Они впились в меня со всех сторон, я прохрипел и опять провалился в темень...

Когда очнулся и с трудом разлепил веки, понял, что лежу щекой на промятой подушке, и вижу, будто бы сквозь густой туман, соседнюю койку. Кажется, что она плывёт в облаках или стоит в густо натопленной бане. На ней, разметав всё, беснуется солдатик – юный ещё совсем, с перевязанной бинтами головой. Я понимаю, что бомбёжка – если это была она, кончилась, но бедолага бьётся в конвульсиях, держась обеими руками за железную спинку кровати. Да, ко мне всё же вернулся слух: кровать гремела, словно это были удары колёс по стыкам рельс.

Пришла, а точнее, будто приплыла по воздуху медсестричка – тоже белоснежная, словно вся осыпанная крахмалом. Сделала укол моему соседу, и он почти сразу затих. Потом подошла ко мне, и я чувствую её тёплую, чуть влажную ладонь сначала на шее, а затем на голове. Она гладит мои бинты, и я слышу звук – тихий, шуршащий, словно ветерок проносится по сухой траве у нашей речки. Медсестра что-то говорит, я слышу, слышу, но не разбираю слов, словно забыл родной язык.

Она кого-то зовёт, и приходит врач. У него белая борода клинышком, старенький, уставший, грустный – вылитый Айболит.

Айболит. Помню книжицу, кажется, «Бармолей», подарил сыну незадолго до войны. И вот доктор – такой же. Если спросит, что болит, не отвечу. Язык не поворачивается, да и не знаю. Всё болит, всё. Но тот ничего не говорит, а задумчиво смотрит, смотрит. Его глаза полны жалости. Ко мне? Меня можно только пожалеть?..

Приходит ещё одна медсестра, помогает первой поправить мою лежанку, ещё что-то делают, не различаю, но от их прикосновений боль нарастает. Я хочу попросить их перестать, но не могу, не получается.

От боли забываюсь, а когда открываю глаза, уже сумерки. Или мне кажется? Нет – я вижу небольшое оконце, луну на сером прокопчённом небе, горит она зло и сиротски. Солдатик, что бился в припадке, спит, а на уголке его койки сидит большой сурового вида человек в выцветшей рубахе, мне кажется, что она немного поблёскивает в тусклом свете, словно покрыта крупинками соли. Мне не различить его лица, оно чёрное. Вижу только лежащие на коленях могучие руки, крестьянские, у наших мужиков тамбовских такие, сухие, жилистые.

– Очнулся? – спросил он, и я не сразу понял, ко мне ли обращался. – Если слышишь, моргни!

И я моргнул.

– Вот и славно, – он помолчал. Его галифе раздулись, словно наполненные воздухом мешки, и человек засунул руку в карман, долго что-то искал. Извлёк папиросу. – Поговорить, понимаешь, не с кем... Меня утром выпишут. Наконец-то, дождался. Давно уж можно было. Сколько просил, ни в какую! Слышишь, нет?

И я снова моргнул.

– Мне чуть больше твоего повезло, извини за такой

разговор, – он задумчиво мял папиросу. – Что, хочешь, чтобы рассказал, как ты смотришься? Можешь не моргать – всё равно не стану. Главное – выжил. И вообще сейчас самое главное – выжить!

Он повернулся к парню, погладил его руку. Она выглядела белой, как у покойника:

– Этот вот совсем уж чумурудный, никому спать не даёт, если не уколоть, а так ничего. Герой. Поправится, – и он посмотрел на меня. – Если бы ты только знал, как я ждал этой выписки! Может, громко скажу, но хочу мстить! Очень, брат, хочу! Аж душу рвёт всю! Иногда думаю, всё во мне выпалено, одна вот только месть эта и осталась. Живёт, ведёт, ей одной только кровь по телу и гоняется. Слышишь? Молодец, почаще моргай.

Наступила тишина – человек собирался с мыслями, желваки ходили по щекам:

– Друг у меня был, Колька Полуянец, с Украины, одно-годовал, однополчанин. Там много чего у нас было общего такого, что на «одно» начинается. Погиб. И не схоронен по-людски... Знаешь, как часто снится? Родных во сне вообще не вижу, а его – постоянно. Приходит, садится рядом, ничего не просит. Вот и сейчас приходил, только что, потому и не спится. Пол лица нет у него, вообще, срезано. А я ему говорю, ору даже во сне – только бы выжить, Микола, слышь, только бы выжить! Победим, кончится война, найду тебя, я помню, где ты лежишь, до смерти не забуду! Найду, схороню по-людски, холмик будет, крестик будет, всё-всё будет, обещаю! А он молчит... Почему? Не знаешь?.. Вот и я не знаю. Ну ты спи, спи, тебе надо! Ты своё, брат, отвоевал уже, твоё всё уже сделано. А я отомщу, ты не сомневайся тоже! Только бы выжить!

И он поднялся с хрустом в коленях, выбросил пустую измятую папиросную гильзу, и ушёл.

Что со мной? Хочу хотя бы ощутить – есть ли руки, ноги, но не могу, снова боль, даже при мысли о том, чтобы ощутить...

Что дальше, и есть ли это «дальше»? Вновь со свистом вдыхаю воздух, хочу уловить запах черемши – родной, дикий, щемящий, и не могу. Пахнет только серой.

Только бы выжить... Удастся? Уже не знаю. Только бы выжить...

«А вдруг расплачусь?..»

*Моему сыну Лёве,
делающему первые успехи в шахматах*

Наш тихий дворик всё-таки не тот, каким был раньше...

Смотрю в окно, приподняв занавеску, и... вроде бы всё то. Весна, похожая на ту, что была в детстве. Лужи на асфальте после дождика, голуби перебирают красными лапками и ворчат; стены дома сталинской постройки такие же – песочного, унылого цвета... Те же стол с лавочкой в тени каштана – стоят промокшие и сиротливые.

Вот поэтому я и не верю родному двору, не такой он стал, что раньше. Потому что не выйдет, не посидит за этим столиком тихий старик Марк Моисеевич Фишер. Давно уже проводили его в последний путь, и я запомнил эти похороны. Нет, они были самые обычные, в угрюмый осенний день. Просто тогда я понял – когда человека выносят под траурную музыку, ты уже не успеешь попросить у него прощения, что-то объяснить. Ничего не успеешь, что мог сделать ещё вчера...

Ничего не вернуть. Лавочка и скамейка только остались, как и раньше. Крепкие, дубовые, Марк Моисеевич сам делал – с душой. Он ведь столяром был, или токарем, не помню и могу ошибаться.

Одно скажу точно – старик оправдывал свою фамилию. Нет, не в том смысле, что Фишер значит «рыбак», к этому

он был как раз равнодушен. А вот в шахматы играл не хуже знаменитого Бобби Фишера. Мы – дворовые мальчишки, даже спорили, притом на полном серьёзе, что нужно организовать на международном уровне грандиозный турнир «Фишер – Фишер». Мы бы без колебаний все копеечные сбережения поставили бы тогда на нашего, своего Фишера.

Марк Моисеевич хотя и вёл жизнь тихую и неприметную, но был символом нашего двора. Вернее, без него мы не могли представить наш двор в тёплое время года. Старик пропал с наступлением холодов, притом и пропал как-то основательно – даже в булочной его не видели.

Был он молчалив, никто никогда не замечал, чтобы Марк Моисеевич повысил голос или даже кому-то возразил. Если во дворе возникали споры, выяснялись отношения, он оставался безучастным – продолжал задумчиво играть партию с самим собой. И я заметил, в его задумчивых глазах всегда отражалась печаль. Ещё он никогда не улыбался и не смеялся. Нет, он всё-таки оправдывал фамилию – даже внешне Марк Фишер походил на губастую донную рыбу. Такие живут в морских глубинах и никогда не видят солнца. Мальчишки иногда дразнили его, но старик умел сделать так, чтобы быстро стать их другом. Притом ненавязчиво и почти без слов.

Он посматривал на нас сквозь стёкла очков – «велосипедов», и только теперь я понимаю, как тепло он любил нас! Наверное, потому что прожил одинокую жизнь и не стал отцом и дедом. Иногда я слышал, как взрослые зубоскалили, спрашивали у него, почему он так и не женился? Тот уходил от ответа, или отвечал какой-нибудь старой еврейской шуткой, но по обыкновению совсем не смеялся.

Да, нас, мальчишек, он обожал. Я теперь понимаю это, потому что многое он нам хотел отдать. В прямом смысле – старик раздарил нам много разного барахла, но и не только. Но самое ценное – он научил нас играть в шахматы.

Поначалу нас тянул вовсе не процесс игры, мы его не

понимали. Мы любили рассматривать удивительные шахматные фигурки, отлитые из янтаря. Марк Моисеевич разрешал их брать, но только с большой осторожностью, говоря, как легко их разбить. Мы любовались через светлые и тёмно-медовые фигурки на солнце. Вспоминаю, и будто сейчас держу шахматного коня – он больше похож на морского конька, в нём причудливо играют лучи. Его невольно хотелось лизнуть и даже надкусить, словно был он сахарным, как леденец на палочке.

Фишер говорил, что никогда бы не купил такие шахматы, очень они дорогие, он получил их как главный приз за победу в республиканском турнире.

Учил играть он нас тоже по-особенному, вот бы записать эту методику, но тогда ни у кого не было видеокамер. По выходным мы все смотрели телепередачу, где пелось, что «Я всегда с собой беру видеокамеру». Но кто этот «я» и кто все эти люди, присылающие записи на телевидение, мы не понимали. Ни у кого такой роскоши, как видеосъёмка, не было. А жаль. Теперь остались лишь обрывки в памяти, как и что объяснял нам старик.

О шахматах он говорил как о целом мире, где кипят такие же человеческие страсти. В этом мире живут отважные герои, прекрасные королевы и воины в доспехах и латах... а мы были в этой игре мудрыми и отважными полководцами, и только от нас зависел исход кровопролитной битвы, где звенят мечи и мчатся колесницы.

В один из весенних вечеров двор опустел. Едва моросил тёплый майский дождик, всех разогнав по квартирам. Это сейчас у всех пластиковые окна, которые чуть опускаются для проветривания, а в то время были деревянные, и их распахивали настежь. Все ужинали, доносился запах жареной картошки с луком. А Марк Моисеевич не ужинал – он сидел один, могучие ветви каштана прятали его от мороси. Он снова был в мире шахмат – в мире, который составлял, пожалуй, главную

часть его большого и глубокого одиночества.

Я шёл с уроков – получил плохую оценку, и потому не хотел подниматься, знал, как крепко всыпет мать. Заприметив меня, старик подозвал, и я охотно подошёл, положил ранец на лавку:

– Ну что же, сразимся, доблестный рыцарь? – спросил он.

И мы стали играть. Я заметил, что дедушка Марк поддаётся, жертвует фигуры – наверное, специально делает грубые ошибки, подумал я, чтобы научить распознавать их и находить верные ходы. Помню, как радовался, прыскал смешками, прихлопывал в ладоши, что-то говорил... и так увлёкся, что быстро проиграл. Старик хитроумными жертвами загнал меня в ловушку.

Когда мы поменялись фигурами, и я уже играл за белых, а точнее, за светло-янтарных, я спросил его... о войне. Не знаю даже, почему. Должно быть, потому что дело шло к 9 Мая, тогда отмечали пятьдесят лет Победы, и потому в школе нам много об этом говорили:

– А вы на войне играли в шахматы? Или там не играют?

– Почему же, – он помолчал – то ли задумался над очередным ходом, то ли вспоминал прошлое. – Играли иногда. Даже случай такой был, не знаю, стоит ли тебе рассказывать.

– Расскажите-расскажите! – мы совсем отвлеклись от партии, я слушал.

– Да случай нехороший, так нельзя поступать ни в коем случае. Мы просто тогда совсем мальчишками были. Постарше тебя, конечно, но глупые ещё. Смерти не боялись, что ли... Был у меня друг на фронте – Вася Пареный, как и я, сержант. Единственный настоящий друг, такой один на всю жизнь даётся, двух не бывает, запомни! – и он показал мне палец, посмотрел внимательно чёрными рыбьими глазами. – И вот случай, значит, такой. Затишье, боя нет. То ли лужайка, то ли поле у

посадки, не вспомню уже, но место такое, ровное. Играем мы с Пареным, увлечённо. Счёт ровный, идёт решающая партия, вокруг даже зрители собрались, можно сказать, болельщики, из наших. Шумят, обсуждают. Пока ни у кого перевеса нет ни по фигурам, ни по положению на доске, но тут как тут – артобстрел с воздуха. Все кинулись врассыпную, это наши-то бойцы-зрители. А мы, ничего, сидим с Пареным дальше! Оба то упёртые, молодые, неумно это, ещё раз говорю.

Я округлил глаза:

– И вы не убежали?

– В том и дело, что нет. Даже более того – играем, фигуры двигаем. До сей поры помню – рвануло сзади, мне до спины комья земли долетели, а могли ведь осколки. Ничего. Он – ход, я – ход. «Мат будет!» – Васька смотрит лукаво, и смеётся. И я смотрю ему в глаза, как тебе сейчас, и отвечаю: «Мат будет в Берлине!» Ох и были мы тогда... А как обстрел кончился, тут уж не до игры. Мы тогда на ничью согласились. Так и вышло ведь – ничья.

– А потом что?

– Погиб Пареный. Не увидел он мата в Берлине. Не увидел... Ладно, ходи, отвлеклись.

Меня так взбудоражил рассказ старика, что я впервые не смог уснуть ночью, ворочался, думал. А утром рассказал учительнице, что живёт у нас во дворе ветеран, настоящий герой, всю войну прошёл, наверное – я тогда добавлял от себя много, потому что не знал ничего. Она меня похвалила, сама обрадовалась – мол, приводи дедушку на урок Мужества, пусть и ребятам расскажет о фронтовых дорогах. Так и сказала. Ей как раз нужно было, оказывается, кого-то найти подходящего среди фронтовиков для выступления.

Помню, как бежал я, окрылённый, по-другому и не скажешь – дороги под собой не видел. Марк Моисеевич снова сидел за столиком, играл сам с собой – где же ему быть, этому привычному тихому символу нашего двора... Мой запаль-

чивый, на придыхании рассказ выслушал спокойно, достал клетчатый платок и долго протирал кругляши очков. Потом сказал:

– Прости, но не пойду к ребятам. Не могу.

– Почему? – я округлил обиженные глаза.

– Не могу. Я никогда не выступал, да и... вдруг не выдержу – ещё и расплачусь. Этого только не хватало. Нет, прости, дружочек, нет.

Я не простил! Не мог просто простить! Я весь налился краской и сам чуть не расплакался. Убежал домой, сказав что-то нехорошее старику. И потом больше с ним не разговаривал, обходил столик стороной. Марк Моисеевич смотрел на меня грустно, подзывал даже, но я не шёл... Я был уверен, что «А вдруг расплачусь?» было сказано с издёвкой. Будет он ещё плакать, как же! Он же фронтовик! Мне война тогда представлялась чем-то вроде шахматной игры, где есть герои, доблесть, атаки. А он, он... Да просто не захотел и всё, может, ему лень идти, ведь старик никуда дальше своего столика и не ходил! Вот и всё! То, что Марк Моисеевич ответил честно, и подумать не мог...

Наш тихий дворик всё-таки не тот теперь, нет... С тех пор как проводили, как водится, всем двором тихого фронтовика, стал пустым и сиротским каким-то. Прожил дедушка Марк с момента моей с ним размолвки ещё года три или четыре, я стал вообще ершистым подростком. Дурак есть дурак, это возрастное, проходит, хотя и не у всех. Я так и не поговорил с Марком Моисеевичем.

Вот бы сейчас выйти во двор, а он там. Вот бы... сейчас.

Он больше не сыграет там шахматную партию сам с собой. Но... играл ли он на самом деле один? Только теперь понимаю, понимаю, что – нет!

«Ты ходи!»

«И пойду!»

«Мат будет!»

«Мат будет в Берлине!»

Шумят листья старого каштана – он и сам стал коряжистым стариком, умрёт скоро, спилят. Но вот и тень рядом с ним... вроде бы, или мне только кажется. Тень от листвы, так похожа она на силуэт человека с шахматной доской. Надо же, и солнце, солнце проглядывает сквозь листву. Какое хорошее майское солнце!

Вот бы взглянуть на него через янтарную фигурку шахматного коника... вот бы взглянуть...





Елена ЧАСОВСКИХ

«Подкидываю веточки в костёр...»

Стихи

Цветы и книги

Страницы книг и крылья лепестков.
Бессмертие кругом и в каждом миге.
Исчезнет всё, но из земных даров
Останутся с тобой цветы и книги.

Цветами звёзд уже пророс закат.
Строка дороги вьётся под ногами.
Жизнь – это всё же книга или сад,
Заросший земляникой и цветами?

Понятий и веществ круговорот –
Земной юдоли верная примета.
Нас кто-нибудь когда-нибудь прочтёт
Или сорвёт, быть может, для букета.

Новый год в детстве. Витрины

Оттепель, и падает снежок.
В окнах – разноцветные шары.
Путь мой неизведан и далёк:
С бабушкой иду через дворы.

Мы идём смотреть на Новый год.
Впереди – огромный магазин.
Яркой мишурой украшен вход.
Волшебство за стеклами витрин.

Куклы в шубках, вата, конфетти.
Вон, смотри – орешек золотой!
Как красиво! Глаз не отвести.
И подарки высятся горой.

Мишки, оленёнок, Дед Мороз,
В санках – красный бархатный мешок.
– Бабушка, – прошу ее до слёз, –
Поглядим с тобой еще чуток!

Мы стоим, и гаснут фонари.
Таёт время, и проходит срок.
Лишь витрины с куклами внутри
Светятся, да падает снежок.

На балете «Ромео и Джульетта»

Любовь всегда заканчивалась смертью,
Но мы, от одиночества скорбя,
Пленяемся любовной круговертью,
Предпочитая умереть любя.

А после этой смерти неконечной,
Игрушечной, нестрашной и смешной,
Живём мы всю оставшуюся вечность
С разбитым сердцем и больной душой.

И эта боль рождает новый приступ,
Ведь дух бессмертный к смерти не готов.
И неизбежно, как судебный пристав,
Стучится в двери новая любовь.

Старость

Подкидываю веточки в костер,
Они сгорают, вспыхивая алым.
...Мир был жесток, и дьявол был хитер.
Но мы умели обходиться малым.

Имущество вмещалось в чемодан,
А мыслям и вселенной было мало.
Жизнь клокотала рядом, как вулкан,
И будущее все-таки настало.

Случилось все, чего любой так ждет
И что для нас планировал Создатель.
Судьба, ведя бухгалтерский учет,
Все подвела под общий знаменатель.

Затих вулкан, и лава не кипит –
Застыла вереницей изваяний,
И больше нет ни страхов, ни обид.
Но также нет ни планов, ни желаний.

Слежу за стрелкой острого листа
Проросшего на черном циферблате.

Земля еще безвидна и пуста,
Но в ней сокрыты зерна благодати.

На этой карте больше нет пути,
Дорога не отмечена пунктиром.
Одно осталось: как-то прорасти
В тот мир, который правит этим миром.

Герда

Сугроб на лобовом стекле,
Но Герда жмёт на газ.
Свет фар теряется во мгле.
И кажется: сейчас

За поворотом будет Кай,
А Кая нет и нет.
А впереди мелькает край
Отпущенных ей лет.

И бак уже почти пустой,
И бампер весь разбит,
Кричит Разбойница: «Постой!»
Колдунья вслед грозит.

Во тьму уходит колея,
По днищу лёд скребёт.
Вот Герда, бешено руля,
Вписалась в поворот,

Перелетела через мост,
Ударив по газам.
И, миновав безлюдный пост,

Дала по тормозам.
А Кая нет. А Кая нет.

И бак уже сухой.
И заметён последний след,
И дан последний бой.

Но, по колено рухнув в снег,
Забыв закрыть авто,
Она продолжила свой бег,
Закутавшись в пальто.

И в этом беге – вся она,
Вся суть ее и цель.
Смертельный холод, ночь без сна.
Жестокая метель,

Тебе не взять ее! Смотри:
Она не так проста.
Ведь у нее горит внутри
Безумная мечта.

И пусть неистово ревёт
Метель, снега крутя.
Она весну в себе несёт,
Как мать несёт дитя.

Несёт, как боль несут врачу,
Как воду на пожар,
Как четверговую свечу,
Как жертву или дар.

Она туда несёт весну,
Где замерзает Кай.

Он ждёт её, её одну,
И верит, так и знай!

Беснуйся, вьюга. Это блеф.
Пока он будет ждать,
Ей сотни снежных королев
Не смогут помешать.

Пока, до хруста сжав ладонь,
Идёт, дыша едва,
Она несёт в себе огонь,
Её весна жива.





Алексис МОИСЕЕВА

Не верится, что завтра выходной *Стихи*

Одиночество

*«Одиночество – есть человек во фраке»
Диана Арбенина*

1.

У одиночества несколько сменных фраков
И чёрных цилиндров. Если прожить так долго,
Радости можно пересчитать по пальцам –
В крошечном пабе фирменный суп из раков,
Бармен, который молча кивнёт скитальцу,
Ром – вместо завершения диалога.
Одиночество садится за любимый столик,
Достаёт незаполненный график. Куда вернётся
И к кому, помечает маркером тёмно-синим.
Любопытное море заглядывает в оконце.
Кто-то пьяно бормочет: «Черти, уснули, что ли?»
Одиночество в список его добавляет имя.

2.

Одиночество возникает в моей прихожей.
Я кричу ему: «Сволочь! Не подходи! Не надо!».
От походки его и жестов мороз по коже...
«Что же ты взглядом сверлишь меня угрюмо?
Первобытное сердце у тебя под костюмом!
Дикарское сердце, не знающее пощады!»

3.

Одиночество знает миллионы проклятий,
Они тупыми ножами вонзаются в его спину
И остаются в виде татуировок.
Только бар, где плюют на правила и СанПиНы
Умеет общаться с болью и притуплять её.
– Слышишь ты? Суп из раков. Бери, готово.

Полиптих о тревоге

1.

Не верится, что завтра выходной,
А вещный мир сожмётся до дивана,
И мне держать не надо небосвод.
Я буду спать, когда зима войдёт
В притихший город поступью тирана,
Постукивая тростью ледяной.
И всё замрёт – пожухшая трава
Ещё тесней к земле прижмётся мёрзлой
(Как в прошлом я к неласковой щеке).
Зима войдёт без снега,
налегке,
Уверенная в собственных правах.

2.

Ещё чуть-чуть и завершится год,
Вздыхнув, глаза опустит виновато
И с тем в былое навсегда уйдёт.
Посмотрит молча вслед ему зима,
Подозревая – месяц-два, сама
Вот так же, без обиды и бравады
Оставит недостроенный чертог.
И я сознаюсь, что ни в чём не смог
Найти хоть малый смысл и итог.

3.

Вселенная, поговори со мной,
Как можешь только ты – фонарным светом,
Глазами всех неулетевших птиц.
Я чувствую себя как безбилетник,
Застигнутый внезапно проводницей.
А за окном и сырость и туман,
И станция – как водится – не та,
И я – иной.

4.

Я говорить и чувствовать отвык.
Как будто и не знал людской язык.
Зачем я не терновник или клён?
Стоял бы в чаще, привечал синиц.
И не был бы теперь опустошён,
Как рано, поздно, каждый книжный принц –
Все битвы позади, а счастья нет.
Как будто бы в решающий момент
Я изрубил не монстра, а себя.

5.

Как медленно и грозно пустота
Течёт ко мне из глубины листа.
Волна, другая, миг – уже река.
Я в черноте воды её пескарь.
...Но вот она идёт из берегов.
И я на суше
капельками
слов.

* * *

Я, как преступник, к поезду спешу.
Скорей, скорей, пока не одолели
Непрошенные чувства! В милый шум,
Где пирожки с капустой и тефтели
Всем предлагает Рубенса модель,
И где напитки в стоимость верблюда,
Бежать от сердца, ищущего чуда.

Трясусь в вагоне. Сонный менестрель.
Теперь, в дороге, нечего бояться.
Деревья смотрят на меня сквозь пальцы
Лукаво, будто дразнят: «Что теперь?».
Случайные мои! Я сам не знаю.
Я не продумал дальше «ускользнуть»,
Хотя честнее «вырваться из мая»,
И наконец-то обретаю путь.

Эй, машинист, не надо до конечной.
Нарушь хоть раз обыденный маршрут!
Тех, кого ждали, дольше подождут.
Но поезд подъезжает бессердечно

К заполненной платформе, где других
Стребут со смехом в крепкие объятия.
Всё пары, пары. Я бегу меж них,
Смешной искатель...

* * *

Я смутно помню, как это было. Вот душу поместили на стол,
над ней со скальпелем склонилось светило.

А я был беспомощен и гол.

Меня разрезали как лягушку, и тело рвали на лоскуты.

После будто поставили мне заглушку, в место,

где находилась ты.

Вот я очнулся. Живи – казалось бы – весна,

и прочая благодать.

Внутри звенящая недосказанность. Не увидеться, не обнять.

Мы были как вековые деревья.

Цеплялись ветками и корнями друг за друга.

Теперь там обрубок пня

(может статься, какая-то часть меня).

И неясно, горю ли, грею.

По ночам почти превращаюсь в зверя –

слова терзают решётку рта. Продержаться бы до утра.

Ведь нажали и ты болишь. Ты ли? Памяти вспышка лишь.





Зинаида КОРОЛЁВА

Пылинки войны

Биографический очерк

Диденко Вера Гавриловна (21.09.1921-13.12.2013)

Диденко Фёдор Никитович (12.05.1921-20.02.1970)

Чем больше разговариваю с Верой Гавриловной, читаю её письма-воспоминания, и всё яснее понимаю, что промолчать, не написать о ней я просто не имею права – ведь она пишет и вспоминает не только свою жизнь, а жизнь целого военного поколения, тех, кто волею судьбы оказался рядом с ней. И всё чаще думаю, почему в её присутствии неслышно было мата, ругани, а пожилые солдаты ласково называли её «дочка»? И вдруг поняла, что она той липецкой пощёчиной бравому и слишком самоуверенному красавцу лётчику за то, что хотел обнять её в коридоре, поставила себя в особый ряд, когда каждый понимал, что она не позволит себя обидеть.

А она в ту пощёчину вложила всю свою обиду на лётчиков, ради полётов которых в 1941 году в их колхозе на небурном поле элитной зимней пшеницы Лютенс-62 начали строить аэродром. Она с председателем Райзо Зверевым умоляли подождать недельку или 2-3 дня, чтобы убрать пшеницу – урожай предполагался отменным. Но лётное строительное

начальство было неумолимо. От бессилия Вера убежала на Ярославское водохранилище, только что завершённое при её непосредственном участии. Но тревога за поле не давала покоя. Возвращаясь, она ещё издали увидела технику, укатывающую пшеницу и заливающую поле бетоном. На краю поля стоял председатель Райзо, по лицу которого текли слёзы. И вот тогда у неё зародилась яростная нелюбовь к лётчикам. Могла ли она предположить, что через год ей придётся служить в авиационных частях? И когда балагур, весельчак протянул руку к симпатичной девушке, чтобы обнять её, то получил увесистую пощёчину. Слух об этом разлетелся по всей дивизии. А она в тот момент шла по коридору, раскрасневшись, ожидая, что вот сейчас её арестуют: ведь он офицер, а она простой солдатик-батюшка. Зашла в операторскую комнату и буквально упала на стол со своим аппаратом-номерником. Следом за ней зашёл комроты Мицкевич, сказал взволнованно: «Правильно, Верочка, не давай себя в обиду!». Заступился командир за своего солдата-девчонку, а тот лётчик больше не встречался на её пути.

Так кто же она, эта хрупкая девчонка, сумевшая постоять за себя, не испугавшаяся ни штрафбата, ни трибунала?

Вера Гавриловна Диденко-Краснослободцева родилась в селе Каменный Брод Дегтянского района Тамбовской области. Война застала Веру в Мичуринске, где училась в сельскохозяйственном техникуме и мечтала разводить сады в Сибири и их цветением украшать этот суровый край, и чтобы обязательно там росла сирень и приносила радость сибирякам. Но мечте её не суждено было сбыться – началась война.

Вера Гавриловна вспоминает: «Слово «война» подействовало на нас шокирующе, мы молча собрались все в одной комнате, как стадо овец, когда к ним врывается волк. Во второй половине дня нам выдали дипломы, мальчишек строем повели в военкомат, а мы поехали на работу по направлениям. Я начала свою трудовую деятельность в Никифоровском районе в должности мелиоратора – сажали лесополосы, строили

пруды, которые существуют и сейчас». Пришёл приказ сажать сыксагыз, который шёл на изготовление каучука. Лучшие чернозёмные поля отвели под эту культуру, а ему-то нужны были песчаные. Верочка переживала, что на целый год были выведены из оборота плодородные земли.

Война страшной вестью больно ударила по семье Веры, отняв самого дорогого для них человека: 31 декабря погиб в боях под Курском отец, политрук Гаврила Никифорович Краснослободцев. Он был бойцом легендарной армии Котовского. После – одним из организаторов сельского хозяйства на Тамбовщине. После объявления войны он ушёл на фронт, попав в самое пекло, когда враг упорно наступал, а наша армия отступала, оставляя после себя тысячи погибших солдат. И вот семья осталась без кормильца, без отца, на которого равнялись все члены семьи, особенно старшие дети – Вера и Василий.

И уже весной следующего года Вера ушла на фронт. Она вспоминает: «1 апреля 1942 года многим девочкам в районе выдали повестки, а меня не отпускают с работы. Все девочки уехали, а за мной прибежал сам военком и отправил товарняком – нас призывали в спецшколу, а я немного знала немецкий язык. В Мичуринске присоединилась к группе девочек. На нас оформили документы, накормили, одели в мужские кальсоны и галифе, которые мы подвязывали верёвочкой, дали обмотки и огромные солдатские ботинки. Косы всем отрезали, неприлично стало на себя смотреть. В таком одеянии нас и отправили в город Елец в школу № 65 ОБВнос (особый батальон воздушного наблюдения). Я училась на кодировщицу. Более опытная Тоня Бабочкина (1911 года рождения) учила нас всем армейским премудростям. Жили мы в большом здании на втором этаже, спали на двойных нарах. А на строевых учениях мы буквально мучились – ноги выскакивали из ботинок, обмотки разматывались, ложка из-за обмоток всё время терялась, котелок никак не хотел ладить с кружкой, стучались друг о дружку,

и иногда тоже терялись. А останавливаться нельзя, надо бежать вперед. Мы еле несли тяжёлые винтовку и противогаз, а надо было бежать к цели и «сражаться» с соломенными чучелами. Всё время хотелось сладкого, а нам вместо этого выдавали ежедневно по сто граммов спиртного и махорку.

И вот однажды в ночное дежурство я оформила стенгазету, а потом взяла и написала письмо Сталину с просьбой поменять махорку на сахар, а спирт на шоколад. Утром девочки встали, прочитали мою писанину, и все до единой подписались. Письмо с балкона бросили проходившей женщине (у нас не было свободного выхода). А вечером меня вызвали в политотдел и приказали в шесть утра принимать информацию и передавать всем. Из Москвы пришёл приказ – выдать нам новую форму и другой паёк. После завтрака мы с девчонками пошли на швейную фабрику, где нам должны были сшить новую военную женскую форму, а на обувной фабрике – обувь. Вскоре мы были красиво одеты и обуты, и перестали быть похожими на чучела. И с того же времени нам вместо спиртного и махорки стали давать шоколад и сахар кусковой с голубым отливом. Мы дежурили на командном пункте, расположенном в здании Собора: входили в тяжелую боковую железную дверь, долго спускались вниз по каменной лестнице. Там располагались все телефонисты и я – кодировщица. Немцы часто бомбили город, особенно старались попасть в Собор, но при мне ни одна бомба не упала даже рядом. Затем нас перевели в Липецк, там мы тоже дежурили на КП.

Запомнилось общедивизионное комсомольское собрание, проводимое в Ельце. Делегаты были из Задонска, Липецка, Грязей. Назад собрались ехать – у вокзала тревога. Все побежали в поле, а «юнкерсы», как на охоте, за каждым гонялись. Из десяти нас половина осталась. На попутной машине доехали до Задонска, а оттуда пешком до Липецка топали. Нас три девчонки было – Вера Карева, Каданцева Ксения и я. В Липецке тихо, спокойно, а потом «Мессер» налетел – мой аппарат

прямой связи в угол отбросило, а меня не задело. Наша рота в верхнем санаторном парке стояла.

Пришлось мне служить и в Воронеже, и в родном Тамбове. Рядом с домом была, а так и не побывала там. Наш наблюдательный пункт находился в подвале здания на углу улиц Державинской и Советской. Дежурили вдвоём с лейтенантом Милюшиным, бесперебойно с наушниками, то он, то я. Напряжение невероятное. 1-го января 1944 года пришел майор и отпустил нас побродить по городу, разрешил сходить в кино (у нас же закрытый режим). Вышли мы и ошалели от белого пушистого снега. Лейтенант в шутку и толкнул меня. Я упала и вывихнула ногу. Наложили гипс, но я всё равно продолжала работать.

В феврале меня отправили сначала до Москвы. Капитан посадил в купе и ушёл. А в купе одни моряки. Они дали полную авоську оранжевых фруктов. Сказали, что это апельсины. А я их видела впервые и не знала, что с ними делать. Так и довезла их до конечного пункта – из Москвы ехала до Харькова. Там переодели из валенок и ватных брюк в сапоги и юбку. А конечным пунктом была станция Основа. На станции встретили два сержанта с автоматами, приказали идти след в след и ни шагу в сторону. Оказалось, что территория была ещё не разминирована. Позже узнала, что они с родной Тамбовщины. Офицер, встретивший меня у домика в военном городке Веприк, только что похоронил сына, подорвавшегося на mine.

Меня уже ждали. В маленьком домике стояла кровать, столик и на нём мой аппарат – номерник. Там я и работала и спала. Так с 22 февраля 1944 года началась моя служба в 9-ом гвардейском краснознаменном авиационном полку дальнего действия 7-ой краснознаменной авиационной дивизии. Дальнейший путь был: Умань, Веприк, Белая Церковь, вновь Умань. Когда располагались подо Львовом, то там очень зверствовали бандеровцы. Было убито 14 человек из службы ПВО. Среди них были мои друзья, с которыми я служила в Липецке: капи-

тан Мицкевич, мой бывший сменщик Гуляев, Ксения Каданцева (она будет тяжело ранена, отнимут ногу, но она на протезе вплоть до пенсии работала бухгалтером). Тогда наши лётчики поднялись в воздух целой эскадрильей и базу бандеровцев в лесу сравнивали с землёй. После этого нападения на лётчиков и диверсии на аэродромах прекратились.

В Веприк перелетели самолёты 9-го гвардейского полка АДД (авиация дальнего действия), который ранее базировался в нашей области, в Платоновке. Я подружилась с лётчиком из города Рассказово Андреем Акимовичем Лакомкиным. У него в Рассказово осталась семья – жена и сын. После войны он свою дочь назвал Верой. Мы дружили семьями до самого его ухода. Там же встретила Диденко Фёдора Никитовича. Лётчики строем проходили мимо моего домика в столовую. А впереди них шёл настоящий волчонок Дутик. Он привык подниматься по ступенькам моего домика и слизывать с руки кусочек сахара. Потом, при дислокации в Киев, его отдадут в Харьковский зоопарк.

По роду моей службы секретные документы проходили через меня, поэтому весь личный состав полка я знала. Знала, конечно, и о Диденко. Впервые я познакомилась с ним в Липецке, когда он вместе с Кравченко, участником боёв в Испании, командиром отдельной истребительной эскадрильи, приезжал за получением ключа к секретному коду. Иной раз ключи меняли часто. Но однажды, вне плана, возле наших окон остановился студебеккер. В ней было много авиаторов: Кравченко, Диденко, Жирёхин Володя. Они возвращались с рыбалки. И кричат мне: «Верочка, а сом с тебя ростом». И действительно, рыбы такой величины я больше не видела.

Мицкевич, его жена Валя, мой сменщик пожилой Гуляев пошли смотреть и смеются: «Верочка, нас пригласили на сомятину, приедут на машине за нами». И вот мы с Мицкевичем на заднем сидении виллиса. А Диденко так быстро ведёт маши-

ну, как будто вытрясает из нас душу. Мицкевич шепчет: «Вот погибнем, родным сообщат, что при исполнении служебного задания, а это Диденко нас где-нибудь опрокинет». Но доехали. После обеда были танцы в большом зале. Ах, каким танцором оказался Мицкевич! И ещё многие приглашали меня.

Вскоре Диденко уехал в Красноярск в отпуск. Вернулся уже в Веприк. Но это был совсем другой человек – поседевший, измотанный. Жена его умерла, а сын был без присмотра. Он оставил сына у местной учительницы, перевёл аттестат на неё. Это Диденко расскажет в первый день приезда в Веприк, хотя я об этом уже знала. Почему-то многие доверяли мне свои тайны. Может быть потому, что я умела молчать. Я знала, кто с кем дружит, кто в кого влюблён, у кого какая беда дома. Ведь каждому бывает необходимо с кем-то поделиться своим сокровенным. А я за все годы службы ни единым звуком не обмолвилась о тех данных, которые мне были известны, как будто их и не было во мне. И большинство окружающих меня даже не подозревали о роде моей службы.

В Веприке в нашем полку было много бед: случалось, что и на взлёте падали самолёты. Помню, когда при взлёте взорвался самолёт с полным боекомплектom. Погиб экипаж майора Г. Давыдова. Штурманом у него был Ф. Кошель, Герой Советского Союза. А стрелок Хилько, который был в оторваншемся хвосте и отброшенном на несколько метров, спасся и был только ранен. После госпиталя он вновь вернётся в полк и прослужит до конца войны. Для разбора причин гибели экипажа прилетит комиссия во главе с командующим 18-ой армии Воздушных сил главным маршалом авиации Е.А. Головановым. Это был мужчина под два метра ростом, спортивного телосложения, с тёплым взглядом и улыбкой на лице. Ну просто красавец, а до чего же прост в обращении! Ко мне он отнёсся как к младшей сестрёнке. Во время полкового собрания он посадил меня рядом с собой в президиум и сказал: «Вот без этого шпунтика ни один самолёт не взлетит и не вернётся

с задания, потому что она знает своё дело». А когда уезжал, то положил руку на мою лохматую голову и сказал: «Скоро в модном платье на высоких каблуках будешь танцевать в большом зале».

Все лётчики имели свои позывные. Был такой позывной и у Диденко. Запомнился один случай, который мы с ним часто вспоминали. В конце июня 1944 года наши лётчики полетели в тыл врага и «Константин-11» передаёт, что интенсивно бьют немецкие зенитки, а через какое-то время сообщает, что сидит в лопухах. Командир полка стоит рядом, нервничает: «Ты устала очень, но ищи, ищи связь». И я, наконец, расшифровываю следующее сообщение: «Самолёт Диденко сбит немецким истребителем, приземлился на территории Новгород-Вольнска в деревне Лопухи». Командир полка Косихин немедленно вылетел за всем экипажем. А сколько таких «Константинов» не вернулось, и каждого нужно было искать. Порой через несколько суток партизаны сообщали радостную или печальную весть. Помню, из группового полёта на задание не вернулся Андрей Лакомкин. Сидим у аппаратов, слушаем, чтобы не пропустить его позывные. И тут заходит начальник штаба Перемот и приказывает: «Краснослободцева, на взлётную полосу!» Я бегом наверх – (штаб со всеми службами и ангарами находились под землёй). Куда, зачем? Я же боюсь летать в самолёте. А Перемот уже в кабине самолёта говорит: «Летим к партизанам за мёдом». Какой мёд?! И причём тут я? Но я привыкла приказы выполнять беспрекословно. Сели на поляне. Горят костры. Вышли. А к нам навстречу... Андрей Лакомкин! Он подходит и как всегда грубовато говорит: «Здравствуйте! А ты-то сюда зачем?» А Перемот смеётся: «Ну как, Верочка, мой сюрприз? Рада встретить братца? Ладно, отдохни тут, подыши свежим лесным воздухом, а мы с Андреем за мёдом пошли». Нас с Андреем в полку считали братом и сестрой. А они на самом деле, принесли флягу мёда. Да, за все годы службы столько разных историй было: и трагичных, и комичных.

Победу встретила в Умани в 328 полку. 8-го мая все принятые радистами шифровки перевела, но никаких сообщений о конце войны нет, а начальство ждёт, ругается: «Прозевали сообщение, спите у аппаратов». И только в ночь с 8-го на 9-ое мая в открытом эфире по радио передали сообщение о конце войны. Наше ликование было невозможно описать. Я впервые свободно побежала к другим девчатам. А днём ко мне зашли Парыгин, Подоба, Южилин – Герой Советского Союза. Оказалось, что они пришли меня сватать за командира 3-й эскадрильи Диденко. Такую свадьбу закатили, гуляли всей эскадрильей. С того дня мы прожили с ним двадцать пять лет, исколесили всю страну – Сахалин, Владивосток, Энгельс, Петровск, Умань».

Во Владивостоке идёт формирование новых частей авиации. Майор Диденко назначен командиром полка на Северном Сахалине, военный городок Смирных. Встретили хорошо, там много сослуживцев из девятого полка АДД. Технари передали Верочке рубленый крестьянский дом (как на Тамбовщине). В полку было много её земляков. Новый 1947 год все комэски полка встречали в тамбовской рубленой избе.

А вот сам 1947 год оказался трудным для семьи Диденко и всего полка. Много бед выпало на их долю. На самолётах, вышедших из капремонта, разбивались лётчики–ассы. Пропал пассажирский самолёт, транспортный самолёт с вещами генерала Веричева, переезжавшего к новому месту назначения. Майора Диденко срочно вызывают в штаб дивизии в Зональное. Уладив все дела в штабе, он обедает у Южилиных, где собрались старые друзья по девятому полку АДД, служившие в Зональном. Друзья проводили его на аэродром. Он махнул им крылом и пошёл по курсу. Но на его беду в этот день электрики поставили металлическую электроопору на пути той трассы, по которой шёл самолёт У-2 майора Диденко – рабочие и их начальство забыло предупредить аэродромные службы.

Самолёт врезался в опору и рассыпался на части. Адъютанта отбросило в одну сторону, а Диденко вместе с мотором в другую. Их подобрала танкисты. Диденко долго приводили в сознание. А адъютант за это время успел доложить командованию, что в крушении самолёта виноват командир Диденко: «Нечего демонстрировать разные виражи». Но перед кем он мог их демонстрировать? Перед боевыми друзьями, прошедшими вместе с ним по грозным дорогам войны? Да и кто – Диденко?! Тот самый Диденко, который даже всю изрешеченную машину умудрялся приводить и сажать на своём аэродроме. Какую-то чушь, глупость придумал адъютант. Только для чего – не понятно. А в ту пору наказание было скорым, без особых разбирательств. И оно прозвучало так: «За виражи десять лет и разжаловать в рядовые.

Но после разбора полётов судимость была снята. Диденко из командира полка переведён командиром эскадрильи в Леонидово. После выписки из госпиталя он мог ходить с палочкой и лежать, а сидеть пока не мог. Дали отпуск и они уехали в Тамбов. Через два месяца в конце сентября Фёдор уехал в Леонидово, а Верочка осталась рожать. В январе родился сын, а весной она с детьми едет на Сахалин. 1948 год для семьи Диденко был счастливым годом.

Чудесная весна 1949 года. И вдруг загорелась тайга и их домики. Все мужчины на тушении пожара. Верочка подхватывает троих детей и в бомбоубежище. Получает документы на выезд. Самолёт на взлётной полосе и бежит её Федя. Успел проводить. Верочка летит вместе с семьёй Дмитриевых, которые были тоже с Тамбовщины. В Хабаровске их накормили бесплатно, дали еды в судках, посадили на поезд. Через двенадцать суток добралась до родного Сабурова. Встретили мать и сестра. Верочка скажет горько:

– Мам, а у меня ничего нет.

– Ничего, дочка, проживём, я мешок соли купила, а картошка своя. А Федя уже в Тамбове.

Верочка отдаёт детей матери, а сама в этот же поезд и до Тамбова. На пороге их комнатушки сидит её Федя – в обгоревшей форме, босиком.

– Веруся, а мы следом за вами на самолёте, а в Хабаровске вас уже не было. Мы на другой самолёт и до Москвы. Долго ждали приёма у Сталина. Не посадил он нас. Только разжаловал в рядовые и отправил по разным частям. Меня направили в Петровск Саратовской области. Поезжай за детьми, вечером едем.

В Балашове их встретили старые друзья: Яськин и другие. А в Петровске командир полка Лафазан, тот самый, у которого в Смирных Федор принимал полк. Они с женой греки, оба необыкновенной красоты. Среди друзей было спокойно. Их не оставили в беде – одели, обули. Пришлось продать комнатушку в Тамбове, чтобы иметь хоть немного денег. Обжились. Жизнь пошла своим чередом.

Из биографии подполковника Фёдора Диденко

Фёдор Никитович Диденко родился в 1911 году 12 мая в г. Баку. После гражданской войны отец уехал в деревню Добринка Сталинградской области, вступил в колхоз. А мать умерла. В семье появилась мачеха. Она была хорошая, но Федор всё равно сбежал из дома в Ростов. Его вернули домой. Летом он работал на поливке бахчевых, погонщиком верблюдов у богатых частных. В феврале 1926 года уехал в г. Ростов-на-Дону к дяде, где устроился на работу в литейный цех в начале учеником, а затем литейщиком-формовщиком. Проработал до 1931 года. Одновременно учился на вечерних курсах по подготовке к поступлению во ВТУЗ. В августе 1931 года был послан Горкомом КСМ на учёбу в Ростовский государственный индустриально-педагогический институт.

Учился успешно, но с третьего курса по спецнабору был отправлен на учёбу в военную школу авиаторов в г. Во-

рошиловград (Луганск), где получил звание военного пилота. Его служба началась в г. Красноярске сначала пилотом, а затем командиром звена 44 лётной школы авиабригады. С июля 1938 года был слушателем курсов военных лётных комиссаров в г. Харькове – Рогачь. После этого служил в Умани в должности пом. военкома авиационной эскадрильи 12-го истребительно-авиационного полка. Полтора года воевал на Халхин-Голе – в должности военкома ИАЭ 70-го ИАП. С января по июль 1941 года был слушателем курсов командиров лётчиков в Качинском авиационном училище. С июля 1941 по 1944 год служил в действующей армии на разных командных должностях в 749-ом полку АДД – впоследствии переименованный в 9-й гвардейский полк 7 авиационной армии.

Летом 1942 года командование приняло решение нанести силами АДД удары по глубоким тылам противника. Для этого девять наиболее подготовленных экипажей перебазировались на подмосковный аэродром Монино. Они приняли участие в рейде на столицу Германии, на военно-промышленные объекты Берлина, Кенигсберга, Данцига и Штеттина. Всего с 15 июля по 20 сентября летчики 749-го АПДД выполнили 90 боевых вылетов на дальние цели, сбросив 90 тонн бомб.

Остальные экипажи полка с аэродрома Платоновка (Тамбовская обл.) наносили удары по живой силе и технике вражеских войск на Сталинградском направлении. В октябре в часть назначили нового командира Героя Советского Союза м-ра Зайкина. Во время разгрома 6-й армии Паулюса основной задачей 749-го АПДД стало уничтожение аэродромов, с которых велось снабжение окруженной группировки.

29 января 1943 года был пасмурным днём. Но он запомнился как жителям Платоновки, так и лётному составу полка. В этот день полк пополнился четырьмя новыми самолётами Ил-4, построенными на собранные средства жителей Платоновки и Платоновского района. На фюзеляжах трёх самолётов красовались надписи «Платоновский колхозник», а

на одном «Платоновский комсомолец». Лётчики поклялись выполнить наказ колхозников: «Смелее и беспощаднее бить врага. После митинга экипажи самолётов взяли курс на Сталинград. И надо сказать, что слово своё они сдержали с честью: до дня победы в 1945 году четверо лётчиков были удостоены звания Героя Советского Союза, многие награждены орденами и медалями.

После завершения Сталинградской битвы полк продолжал наносить удары по вражеским аэродромам Сталино, Полтава, Мокрое, Харьков, Красноград; по железнодорожным станциям: Ростов, Брянск, Полтава, Курск, Харьков, Запорожье, Днепропетровск. 26 марта 1943 года полку присвоили звание «гвардейский», и он стал именоваться 9-й ГвАПДД, а 24-я дивизия АДД была преобразована в 3-ю ГвАДДД. В апреле полк перелетел в Монино, откуда совершал вылеты по глубоким тылам врага, в частности по Кенигсбергу.

14 мая в полк назначили нового командира – гв. майора А.И. Аверьянова, а через 6 дней часть включили во вновь формируемую 7-ю ГвАДДД. 30 июня гвардейцы перебазировались в Мигалово под Калинин, откуда наносили удары по дальнобойным батареям противника в Пулковое, снабжали белорусских партизан, вели разведку в интересах командования Ленинградского фронта. За успешные бомбардировки и фотографирование позиций немецкой осадной артиллерии гв. к-н Ф.Ф. Кошель был представлен к званию Героя Советского Союза.

В этот период Ф.Т. Диденко летал на истребителе И-16 и сопровождал бомбардировщики. Затем были самолёты Б-25, Ил-4.

С командующим 18-й Воздушной армии главным маршалом авиации Е. Головановым они были знакомы по боям на Халхин-Голе. После собрания, когда он приезжал в полк с комиссией, они просидели в штабе всю ночь. Голованова удивило то, что у Диденко до сих пор было капитанское звание. Он

воскликнул: «Фёдор, в чём дело?! Воевать ты умеешь и хорошо воюешь, видел по личному делу. Но почему нет продвижения? Кому-то из начальства дорогу перешёл? Постараюсь исправить эту несправедливость». Голованов уехал, а через несколько дней пришёл указ о присвоении Ф.Т. Диденко звания майора. Да, Фёдор не умел пробивать себе дорогу, всегда оставался в стороне. Вот за своих подчинённых горой стоял. Не зря его называли ласково «батя», вкладывая в это слово всю любовь и уважение к командиру.

328-й ап ДД начал формироваться в апреле 1944 года на аэродроме Попельня (Киевская обл.) в составе 7-й гвардейской авиадивизии ДД (3-й гв. ап ДД). Командный состав полка был взят из 9-го и 21-го ап ДД (командиры эскадрилий и выше), остальной личный состав - из школ и училищ АДД. Командиром полка назначили гвардии майора И.М. Табибишева, но 27 июля в одном из тренировочных полетов в Астафьево он погиб в авиакатастрофе. Его место занял гвардии майор Г.Е. Подоба. В августе 1944 года полк перебазировался в Белую Церковь, а когда в Умань пригнали из Иркутска 36 самолётов Ер-2, полк перебазировался на аэродром Умани. Начались интенсивные учения, которые продолжались до декабря 1946 года, когда полк вместе с матчастью был отправлен на Дальний Восток.

За двадцать один год лётной работы Федор Диденко сделал 4772 вылета на самолётах различного типа, в общей сложности налетал 2592 часа, т.е. находился в воздухе 108 суток. Лётчик-ночник дальнего действия. Имеет награды: Два ордена «Красного Знамени», орден «Красной Звезды». Медали: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», Юбилейная «30 лет Советской Армии».

Фёдор Диденко в 1954 году добровольно уволился в запас в звании подполковника из-за болезни дочери: ей врачи рекомендовали жить в средней полосе, а ему не дали назна-

чения в эти края. Он с семьёй переехал в Тамбов, на родину жены. После его демобилизации в 1954 году семнадцать семей поднялись и поехали вместе с ним в Тамбов, чтобы не расставаться с командиром. Только приём демобилизованных лётчиков оказался холодноватым – квартиры не были представлены, а на выделенном участке дом за один день не построишь. Тем более, что у большинства из них прибывшие багажи и размещённые по чужим сараям, были украдены в одну из ночей. Родственников не оказалось, и тринадцать семей разъехались по разным городам.

А Фёдор Диденко вместе с оставшимся Алексеем Мозалёвым и вновь прибывающими отставниками разных родов войск занялись строительством домов. С Иваном Цибизовым, отставником артиллеристом, защитником Сталинграда, они стали большими друзьями, вместе работали на заводе «Электроприбор». Неотделим от них был и Андрей Лакомкин.

После тяжёлой болезни 20 февраля 1970 года Фёдор Никитович Диденко скончался. На похороны выехали старые друзья из девятого полка АДД. Его самый близкий друг ещё с училища командир полка Коваленко сразу же собрался ехать, но отказало сердце, и он скончался на ступеньках лестницы своего дома. Похоронен в г. Умань. Голощапов Владимир, штурман эскадрильи Диденко на Сахалине, жил в Днепропетровске. Умер у трапа самолёта по дороге на похороны. Похоронен в Днепропетровске в один день с Диденко. Верные друзья, братья по оружию, не пережили друг друга.

* * *

После похорон мужа Вера Гавриловна долго болела, душа не могла примириться с ранней его смертью – ведь он молчал, не жаловался, боялся потревожить родных. Вскоре Вера Гавриловна устроилась работать на завод «Электроприбор». Сначала в охрану, а потом выбрала себе работу в цехе

аммиачки. Во время дежурств наводила порядок внутри здания, сажала цветы вокруг. Рядом с ней были добрые, внимательные люди, помнящие Фёдора Никитовича и уважающие его за твёрдость характера, за его доброту, порядочность. Вера Гавриловна вспоминает: «Когда потребовалась кровь для переливания Фёде, то пришло много людей с завода, а из цеха так все до одного. Простой народ любит таких же простых людей. И таких людей, как я, с таким же жизненным путём, было много. Нас оберегали на фронте. А сколько человеческих жизней сберегли мы – малейшая наша ошибка и за минуту могли погибнуть тысячи человек.

Со многими друзьями мужа я переписывалась, а на сорокалетие Победы в 1985 году они приехали в Тамбов во главе с командиром полка Аверьяновым. Приехали с женами. Сейчас их уже никого нет в живых. Моё земное счастье, что прожила жизнь рядом с умными, бескорыстными людьми, которые не искали себе лёгкого пути. Этого я требовала и требую от своих четырёх детей, девяти внуков и двенадцати правнуков. Считаю, что память своего отца я не запятнала».

* * *

Почти полностью пройден жизненный путь, и Вера Гавриловна всё чаще повторяет: «Ох, задержалась я тут, ребята заждались. Ну, как там они без меня? Кто им готовит, пуговицы, подворотнички пришивает?» А память возвращает в прошлое. И она сетует: «Совсем перестала спать. Глаза закрыты, а перед ними одна картина за другой. А тут ещё книга попала на глаза И.И. Киньдюшова «К победным рассветам». Как много в ней об АДД. Для меня лётчики авиации дальнего действия, да плюс ночники – это особые люди. Да, это были Боги. Экипаж самолёта дальнего действия – лётчик, штурман, радист, стрелок – одно единое сердце. Они работали слаженно, выручая друг друга. Иногда спасали друга, а сами погибали. Они так любили

жизнь и всё живое: радовались рассветам и первым луговым цветам, упоённо слушали песни. И всем сердцем, всей плотью осознавая вероятность своей гибели, они тянулись к весёлым, способным на острое словцо людям. Ох, если бы знали, сколько их не вернулось с заданий! Но они так много сумели сделать ради нашей общей Победы над врагом. Среди бумаг разыскала листочек с песней, сочинённой радистами.

Пеленг

Два мира в эфире боролись:
Сквозь грохот, и бурю, и свист.
Услышал серебряный голос
В наушниках юный радист.

Поймав позывной Украины
Над крышами горестных сёл,
Пилот утомлённый машину
По небу, как лебедя, вёл.

Пришли самолёты на базу,
Родные найдя берега.
И песня, пожалуй, ни разу
Им так не была дорога.

* * *

Для кого-то это кажется сказкой, а для нас это пройденный путь в жизни. Работа, работа, работа. Всё связано в одной цепи. Девчонок своих вспоминаю. Сколько их было с Тамбовщины, из Липецка, Москвы, Воронежа, Орла. Пылинки мои. Со многими переписывалась до их ухода. А сейчас почти никого не осталось.

Вот и свадьбу свою с Фёдором Диденко вспомнила. И как жили на Дальнем Востоке. Как после пожара в части все

жёны офицеров уехали, а вслед за ними и наши мужья подались. А меня на станции встретил начальник дивизии: «Верочка, спасай мужиков, под расстрел они подходят. Спасай!» Я письмо Сталину писать. А душа замерла вся. Приехала к маме, упала на грудь: «Мама, Федю расстреляют!» А она смеётся: «Да он уже в Тамбове твой Федя. У Сталина были всем составом. В рядовые разжаловали, а из армии не выгнали. А главное – живыми оставили. Твоё письмо, наверное, помогло».

И опять скитания по частям: то в Умань, то в Белую Церковь, то в Киев. А Федю послали за новой мат. частью (самолётами) в Прибалтику. Перегнал самолёты, и его восстановили в старой должности, опять стал заместителем командира эскадрильи. А как любили его сослуживцы. После его демобилизации на День Победы все собирались у нас. От орденов и звёзд на погонах светло становилось. Ох, ребята, ребята... никого не осталось. Все убрались, одну меня бросили. Устала я, Зинаида Алексеевна. Пойду отдохнуть».

В трубке голос Веры Гавриловны смолк. А я перебираю её письма и ещё раз прихожу к выводу, что без малых пылинок не было бы Победы и не было бы чистого неба после войны в течение долгих, долгих лет. Низкий поклон вам, Ветераны.

Использованы материалы:

Воспоминания В.Г. Диденко; И.И. Кравченко – 1936–1953; «Авиация и время» 1998.03;

А. Афонин. «Крылья вырастают на земле»;

И. Киндишев. «К победным рассветам».



К юбилею Зинаиды Алексеевны Королёвой

Валентина ДОРОЖКИНА

Когда возрождается душа...

Фрагмент очерка

Зинаида Алексеевна Королёва родилась в городе Свердловске за месяц до начала Великой Отечественной войны. Отец ушёл на фронт, а мать с детьми переехала в 1942 году в Тамбовскую область. Здесь, в Рудовском районе, девочка окончила школу и некоторое время работала в местной библиотеке. Начавшаяся болезнь требовала частых приездов в больницы областного центра, куда через несколько лет семья и переехала. В 1962 году Зинаида Королёва окончила Тамбовский кооперативный техникум, а потом – заочно – и Московский кооперативный институт, по окончании которого работала на заводе «Электроприбор». Здесь в 1987 году в многотиражной газете был опубликован её первый рассказ. Позже, когда Зинаида Королёва стала заниматься в литературном объединении «Радуга» под руководством известного поэта Семёна Семёновича Милосердова, её рассказы и стихи стали печатать городские и областные газеты, общероссийская газета для инвалидов «Надежда». Два года подряд (в 1999 и 2000 годах) наша землячка была победителем творческих конкурсов, проводимых этой газетой.

Правдивые жизненные ситуации, о которых Зинаида Королёва повествует в своих произведениях, заставляют читателей задуматься над собственными поступками, по-иному взглянуть на проблемы общества и, прежде всего, на проблему инвалидов. Будучи десятки лет прикованной к инвалидной коляске, Зинаида Алексеевна не только не чувству-

ет себя каким-то ущербным человеком, она ведёт активный образ жизни, и, наделённая от Бога творческим даром, пишет стихи, повести, рассказы, многие из которых посвящены инвалидам. Откровенно, с доверием к читателю, Зинаида Королёва в очерке «А мы не сдаёмся», которым и открывается книга «Возрождение души», рассказала о своём нелёгком детстве. «Сколько помню себя, – пишет она, – больницы, врачи, “скорые”... Ей давали путёвки в санатории, и она объездила полстраны. «Чемодан донести не могла, – вспоминает Зинаида Алексеевна, – а радости – через край. Инвалидом я себя не чувствовала...» Разные люди встречались на жизненном пути Зинаиды Королёвой, в большинстве случаев – всё-таки хорошие, добрые, которые помогали и чемодан донести, и в вагон сесть.

Вначале могла ходить с палочкой, потом на костылях. Но болезнь прогрессировала, и вот – на долгие годы в коляске. Не только она сама, но и старшая сестра. Пока жива была мама, трагизм положения не так остро чувствовался. «Но пришёл и её конец, – пишет Зинаида Королёва. – Для нас с сестрой, в то время уже инвалидов первой группы, это было шоком, неизбывным горем. Выпал стержень нашей семьи, не стало нашей опоры, защиты. Ведь у нас на Руси как – если болезнь внутри, то ты просто больной человек, а ежели у тебя физический недостаток, то ты – ущербный человек... И именно в это время мы узнали о газете «Надежда», и началась новая жизнь...»

Одна за другой стали выходить книги: «Пожелайте мне удачи!» (2000), «Иван-озеро» (2001), «Дважды в реку не войти» (2003), «Не очернить святое» (2004), «Рядовые войны великой» (2005), «Своё солнышко найти» (2008) и другие. На страницах местных газет Зинаида Алексеевна выступает с очерками о литераторах, связанных с Тамбовским краем. В 2003 году её приняли в Союз писателей России. На презентациях книг этого автора нельзя не заметить интереса читателей, в отзывах ко-

торых чувствуется равнодушие к творчеству Зинаиды Королёвой. Сама человек нелёгкой судьбы, она пишет о судьбах людей своего поколения, о молодёжи, обо всём, о чём болит её душа. Зинаиду Королёву в основном знают как прозаика: она выпустила более десятка книг повестей и рассказов. Но самая первая её книга – сборник стихов «Пожелайте мне удачи!» Поэзия – это отдельная, не менее значительная, страница в творчестве Зинаиды Алексеевны. Она пишет о страданиях отдельного человека и всей страны, о несправедливости, которая часто встречается в жизни, пишет о добре и вере в милосердие, о природе. Ей она поверяет свою боль, страдание, одиночество:

*Я приду на берег дальний,
А там уточка одна.
Расскажу ей свои тайны,
Слёзы выплачу до дна.
И взмахнёт она крылами –
В небо горе улетит...
Речка плещется волнами
И со мною говорит.*

Конечно, грустных мотивов немало в произведениях Зинаиды Королёвой. Но они не превалируют. И самое главное – нет той безысходности, которая, конечно, навеяла бы тоску и на читателей. Больше всё-таки надежды и веры. И, безусловно, – любви. Любовь к людям и благодарность им – неотъемлемая, характерная, главная часть творчества Зинаиды Королёвой. А как верно подметила она в одном из стихотворений суть настоящей поэзии. Да, сейчас пишут многие. Но как? Волнует ли это? Делает ли человека лучше?

Немало стихотворений посвятила Зинаида Королёва теме Великой Отечественной войны. Её отец не вернулся с фронта, и это наложило трагический отпечаток на всю жизнь.

Но жива память – не только об отце, но и обо всех, кто остался на полях сражений. Дети войны давно уже стали старше своих погибших отцов, а как хочется произнести, хотя бы в стихах, слово «папа». У Зинаиды Королёвой есть такое стихотворение – «Без отца», в котором она пишет о том, что с детства привыкла всё делать сама: и утюг отремонтировать, и каблук прибить, и много чего ещё. И как по-житейски просто она говорит об этом: «Сломался стул, погасла лампочка – Смелей, Зинаида, делай сама!.. А ночами зову всё: «Папа, папочка!..» На стихи Зинаиды Королёвой написано несколько песен. У неё в Интернете – своя страничка, где она разместила стихи. Их прочитала женщина-композитор, тоже творческая личность. Она пишет музыку и сама исполняет песни на стихи тамбовского автора. Вот такое произошло знакомство через Интернет. Конечно, всё это очень поддерживает Зинаиду Королёву, даёт ей силы для жизни и творчества. Это – её богатство. Если бы ещё здоровья Бог дал.

*Не нужны мне замки, дачи,
От богатства – только зло.
Пожелайте мне удачи,
Да здоровьица в придачу,
Да чтоб в жизни повезло*

В 2010 году в Тамбове выходила книга Зинаиды Королёвой «Мы помним! Мы гордимся!» – очерки, заметки, интервью, рассказывающие о рабочих и служащих завода «Электроприбор» – ветеранах Великой Отечественной войны. За последние годы опубликовано немало стихов, повестей и рассказов Зинаиды Королёвой. В 2016 году изданием новой книги избранных произведений «Душа взывала к людям» она в который раз порадовала своих читателей.





Александр ЛОШКАРЁВ

...Все ещё может случиться...

Стихи

* * *

Разгулялась метель на Тамбовщине –
не напев, а разбойничий свист,
словно где-то бушует за рощами
невысок, бородат и плечист,
Соловей, да не с речки Смородины –
из других не былинных краев.
По России – малюсенькой вроде бы –
никогда не сочтёшь соловьев.
Заметался по утренней темени
в придорожном и голом лесу.
Ты ошибся, Соловушка, временем,
до заправки, садись, подвезу.

* * *

Впереди то рай, то коммунизм,
позади – туманно и размыто.
Как бы ни брала за горло жизнь,
а вкуснее хлеб, с трудом добытый.

Сколько слёз и муки в этой мгле
и не видно ни конца, ни края...
Я пророс в неласковой земле,
но её, как мать, не выбирают...

* * *

Я – липецкий. В этот город
я вписан, как стих в тетрадь,
и каждый мой день – лишь повод
увидеться с ним опять.
И в горьком кабацком плаче,
и в мате родных промзон
я весь растворен, а значит
я с городом в унисон
живу. И пока трепещет
под рёбрами, слева там...

...Мне клясться, родной мой, не в чем.
Ты знаешь, что не предам.

* * *

Отпадает лишнее – и вот
правда не укроется в рукав.
Мёртвым сном спит тракторный завод,
на трамвайный грохот наплевав.
Счастья посулили дохрена,
обещанья унесло рекой,
но, назло проклятым временам,
жив родной посёлок заводской.
И когда корёжит душу мне,
я иду по улицам один.
Устояв под ветром перемен,
выдержим, что будет впереди...

* * *

Иду на свет знакомой вывески,
в карманах наскребая медь.
Я помню что-то про Васильевский
и про желанье помереть.
Неотвратимо и пугающе
дороги все ведут в раздрай –
у каждого своё пристанище,
тут выбирай-не выбирай...
Шутить с судьбою – дело вздорное –
она всему дарует суть.
Мне в Черноземье близко чёрное,
но не курортное отнюдь.
В самом себе и муть, и прочее
вздымая, не жалея сил,
я видел Господа воочию,
который в скорую звонил...

* * *

Вдруг настигает пониманье времени –
всё сменится, каких ни пробуй мер.
Целуются у памятника Ленину
те, кто не знают слова «пионер».
Побольше б видеть этих милых странностей
среди житейской серой шелухи
и неизбежность наступленья старости
покажется вдруг делом неплохим.

* * *

Как рыба подо льдом
стучится безуспешно,
я так же бьюсь под ним
в своей земной пыли

и знаю об одном:
что с этим миром грешным
я сам неразделим –
хоть режь, хоть пристрели.
«Люблю» – намалевал
пацан на тротуаре.
На букве «л» едва
скулит избитый пёс...
Какие тут слова?
Да, все мы Божьи твари.
А кто-то просто тварь
и это всё всерьёз...
Я колочусь в свой лёд
среди любви и смерти.
Да, тесноват мирок
двуногого зверья.
И знаю наперёд,
что жизнью не измерить
той глубины, что Бог
вложил в него, творя.

* * *

В каком-нибудь Брянске, в гостинице, скажем, «Десна»,
где рядом Ильич ожидает с туристками встречи,
пытаюсь уснуть, но опять и опять не до сна.
Судьба – бесприютность, и крыть это, собственно, нечем.
Давно ведь привык каждый раз уходить за порог
к водителям хмурым и ласковым вдруг проводницам,
ни дома, ни сада, ни сына оставить не смог,
но теплится жизнь, значит всё ещё может случиться.
Не в Брянске, допустим, но в Липецке или в Орле –
доверчиво сердце, ведётся на эти уловки.
Но нет расписанья, маршрут неразборчив во мгле,
и чёрт его знает, какая моя остановка...

* * *

Сколь про русский простор ни талдычь
тем не менее, снова и снова
упираешься взглядом в кирпич
безымянного дома жилого,
что торчит где-то возле пивных,
возле звона стаканов и денег
и, стараниями местной шпаны,
размалёван, как школьный учебник.
Дураком здесь стоишь не у дел
и пытаешься вызнать ответы:
сколько стоят на Божьем суде
все твои мотылянья по свету?

* * *

Чем яснее видны впереди очертания края,
тем желание жить без прикрас год от года сильней.
Словно истину Божью заблудшей душой постигая,
я внимаю всему на своей беспокойной земле.
Как нелепо уже в перепалку кидаться с разбега,
чтобы правду свою доказать и себе и врагу...
...Я вдыхаю сейчас аромат потемневшего снега
и, как первой любви откровенье, его берегу.





Сергей БЕРЕЖНОЙ

Рыжик

Рассказ

Минул год, как вздыбленный майданом Донбасс проявил свой крутой и непокорный нрав. *Укры*¹, здорово ощипаные под Дебальцево, вновь оперились и «жабьими прыжками» двинулись сокращать *нейтралку*, заодно разведгруппами активно шупая оборону.

Людей катастрофически не хватало и, как ни пытались командование растащить батальон по всей линии фронта в тонкую цепочку, бойцов у комбата Лешего² едва оставалось на опорные пункты да крохотный резерв.

О Рыжике я услышал в конце мая от него, когда по обыкновению привезли в батальон гуманитарку. Потом мы с ним даже подружились, нет, не с комбатом – с Лешим мы были накоротке ещё с лета четырнадцатого, – а с Рыжиком.

Боцману, Лёньке и Выксе достался дальний, стратегически не перспективный и потому относительно спокойный участок. За спиной в полукилометре за вытянувшимся вдоль

1 Распространённое прозвище украинцев.

2 Павлов Алексей Анатольевич, позывной «Леший», командир спецбатальона «Леший».

балки байрачным лесом³ расположился хуторок в дюжину домишек, впереди – заросшее бурьяном, второй год не паханное поле, с осени обильно засеянное минами. «Урожай» собирали редкие ДРГ⁴ да всякое зверьё, но последнее время и они не жаловали – видно, у опасности свой запах. Далеко на западе синели крохотные конусы терриконов.

Рыжик приполз под вечер со стороны нейтралки. Солнце ещё не свалилось за щетинившуюся вдаль посадку, косо било в глаза, поэтому заметили его не сразу. Впрочем, тогда он не был ещё Рыжиком – так, грязно-жёлтый с подпалинами обглодыш, бока впалые, хвост палкой волочится, а в глазёнках тоска, страх и боль расплескались. Бочина вся разодрана: может, растяжку цепанул, может, под мины угодил. Он пытался встать на подламывающиеся ноги, пытался идти, да только мотало его из стороны в сторону, будто пьяного. Хотя разве лиса бывает пьяная, тем более, совсем ещё щенок? Сделает шаг-другой и ложится, вывалив язык, потом опять поднимется – шаг-другой с креном – и снова ложится. Да и какой там шаг – так, ковыль-ковыль едва.

Он заполз на самую маковку бруствера окопа и свалился без сил. Дрожь волнами прокатывалась по тощему тельцу, дыхание вырывалось со свистом, бока ходили ходуном, будто у загнанного.

– Тю, лиса! – ломанул брови шалашом Боцман и потянулся к автомату. – Бешеная, факт. Или лазутчик, раз от укров причалила.

– Сам ты бешеный лазутчик, – возразил Лёнька. – Зенки повылазили, что ли? Не видишь, что зверюга раненая?

– Ага, в лазарет явилась, – оскалил прокуренные до желтизны зубы Боцман. – Не иначе быть тебе, Лёнька, сестрой милосердия.

3 Байрачный лес – широколиственный лес, растущий по дну и склонам балок (байраков).

4 Диверсионно-разведывательная группа

Выкса из-за плеча Боцмана ощупал прищуренным взглядом лисёнка, нахмурил лоб, и было видно по выражению его чумазого лица, как тяжело ворочаются мысли, и как-то не очень уверенно произнёс

– Поди ж ты, дикая зверюга, а к людям приползла. С чего бы это? Эх, довели животину, что за милосердием к нам подалась.

Лисёнок вжался в бурую глинистую землю, прижал уши, сжался в комочек и закрыл глаза.

– Иди ко мне, Рыжик, – Лёнька протянул руки.

Он осторожно взял его на руки и перенёс в блиндаж.

Рана была глубокой и успела нагноиться. Лисёнок лежал, закрыв глаза, подрагивая мелкой дрожью. Лёнька выстригал шерсть и марлей убирал гной, Выкса гладил зверя по голове, а Боцман, посматривая в сторону укров, нещадно дымил своей трубкой, словно старая шаланда.

– Демаскируешь, – проворчал Выкса. – Это ж надо, зверь сам к человеку пришёл. Кому расскажи – не поверят.

– Шлёпнуть надо, нечего сопли размазывать. Чего ему мучиться, всё равно помрёт, – упрямылся Боцман, щупая взглядом торчащую в полукилометре лесопосадку, и выругался.

– Тут философия жизни, – Лёнька поднял к накату из крепёжного бруса грязный палец. – Человек ему бок разворотил? Человек. К человеку он за помощью приполз? К человеку. Во!

– Чего «во»? – не согласился Выкса. – Тут другое. Почему он к украм не пошёл? Чай, тоже люди, а поди ж ты, к нам пришёл, знает зверь, от кого беда.

Лисёнок дернулся и твякнул фальцетом.

– Терпи, брат, терпи, – прошёлся Лёнька ладонью по его голове, передавая своё тепло, и тот затих, лишь изредка поскуливая. Достав аптечку, растолок в крышке от котелка таблетки стрептоцида, посыпал порошком рану, осторожно перемотал

бинтом туловище и отнёс лисёнка в угол блиндажа, уложив на своём бушлате, пододвинул миску и плеснул в неё воды.

– Попей, Рыжик, попей пока, а потом покормим тебя. Ишь, как отощал.

Лисёнок опустошил миску и, свернувшись калачиком, затих.

– Эх ты, тигра полосатая, полоска белая, полоска рыжая, как наша житуха вся в полоску чёрно-белую, – немного оттаял Боцман и оглядел приёмыша. – Теперь эти придурки будут тебе мышей ловить. Не житуха, а чистый мармелад.

Рыжик быстро пошёл на поправку, прижился и уже через месяц по-хозяйски сновал по окопу, днём отсыпался под топчаном в блиндаже, но не прочь был прижаться к тёплому Лёнькиному боку, когда тот в душную июльскую ночь выбирался за бруствер и, расстелив спальник, мечтательно всматривался в усыпанное звёздами антрацитовое донбасское небо.

Боцман хмурил мохнатые брови и нарочито сердито ворчал:

– Привадили лису, а если она бешеная? Вот кусанёт, и будет тебе сорок укулов в корму.

– В живот.

– Чего в живот? – не понял Боцман.

– В живот, говорю. Уколы от бешенства в живот колют.

– Таким умникам ещё и в корму, – упрямылся Боцман.

Но давно оттаяла просолённая морская душа и, словно нечаянно, летели с его ложки куски тушёнки прямо в лисью миску. А Выкса не скрывал симпатии, возился с ним, будто с малым дитём, рассказывая о своей незадачливой судьбе.

Комбат к появлению Рыжика в жизни бойцов отнёсся философски: мужики в окопах безвылазно уж который месяц, и конца не видать, так хоть какая-никакая, а всё ж забава. Лишь бы не расслаблялись. И если раньше вниманием крохотный гарнизон Боцмана он особо не жаловал, то теперь норовил заглянуть при каждом удобном случае. Между привычны-

ми расспросами нет-нет, да поинтересуется:

– Ну, как тут прибудда? Не мешает? Не демаскирует?

Потом достанет из кармана «горки» кусочек рафинада или печенья, сдует несуществующие крошки и протянет:

– На, рыжий, отведай десерт, ты теперь на довольствии.

Можно сказать, сын полка.

Прошёл год, как Рыжик поселился на позиции. Округлился, заматерел, обзавёлся роскошным хвостом и покладистым характером. Для начала пометил блиндаж, траншею и почему-то берцы Боцмана, чем привёл его в состояние перманентного бешенства. На нейтралку не совался, шастал между хутором и позицией, ловил мышей, гонялся за своим хвостом, вызывая хохот бойцов, Боцмана и Выксу терпел и даже брал с руки угощение, а вот к Лёнке привязался собачонкой верной и вился за ним следом, не давая проходу. Мы привезли очередную гуманитарку, и, пока разгружались, я решил навестить своего знакомого. Комбат дал машину только до хутора:

– Неровен час – долбанут, и одни колёса останутся в лучшем случае. У меня не автопарк, машин на пальцах пересчитать, не то, что вас, ненормальных. Едут и едут, будто намазано... И смотри, чтобы к вечеру в целости и сохранности на базу вернулся. Мне ЧП всякие ни к чему.

– Ох и скверный у тебя, Лёш, характер становится. Что ж дальше-то будет?

Лето ушло в зенит, и теперь степь дышала жаром, настоящим пылью и горькой полынью. И даже изредка забредавший со стороны далёкого моря ветерок, лениво разгонявший чубатые ковыльные волны, не избавлял от зноя и к вечеру обессиленно стихал. В полукилометре от позиции подрагивала в мареве лесопосадка, наискосок отсекавшая изрядный кусок пожухлой степи.

– Як хустка линиялая, – с каким-то небрежением произнёс Боцман, но в голосе ощущалась потаённая любовь.

– Чего, чего? – наморщил лоб Выкса, сияясь понять сказанное.

Был он из глубинной России, поэтому малороссийский язык иногда ставил его в тупик. Аккурат в апреле по недомыслию угодил он в забурливший Луганск – увязался с приятелем, доставлявшим какой-то груз на завод, а когда засобирался домой, то местная шпана тиснула у него на рынке бумажник, разбогатеv на пару тысяч рублей и российский паспорт. И поделом, не разевай рот, всё равно в него ничего не положат.

П приятель уехал, пообещав подсуетиться с документами, а Выкса прибилсв к батальону Лешего: думал, на недельку-другую, пока всё не разрешится, да так и задержалсв на целый год, взяв позывной «Выкса» в память о родном городке.

– Хустка – это платок, – перевёл я Выксе.

Рыжик спал в блиндаже и Боцман попросил:

– Да не буди ты его, опять всю ночь где-то шлындрал. Расскажи-ка лучше, что на белом свете делается.

Он погладил цевьё *калаша*⁵ ладонью с шахтёрскую лопату и вцепилсв прищуренными правым глазом в рдеющий закат, оседлавший острые маковки далёких терриконов. Левый туго перехватывала уже успевшая потерять первоначальную белизну повязка – всего сутки, как осколок распорол бровь и скуловую кость, не задев глаза. На моё робкое предложение, что надо бы повязку поменять, Лёнька лениво разлепил обветренные губы:

– Да не, ни к чему, он и так всех укров распугал своими бинтами. А так хоть камуфляж.

Не успели ещё засохнуть багровые пятна на повязке выше и ниже глаза, как проворный на язык Лёнька, алчевская шпана, тут же окрестил его «Нельсоном» и «Пандой».

– Боцман – это, брат, банально, – с видом профессора филологии изрекал Лёнька и цыкал через щербину между передними зубами. – Ну, что такое Боцман? Тельник, дудка,

5 Автомат Калашникова

мат-перемат да зуботычины направо-налево. Так, скукотища зелёная! Проза жизни. А вот Нельсон – это же песня! Штурма, захваченные испанские каравеллы с набитыми золотом трюмами, пушечный грохот, абордаж и слава. Или панду возьми – милая зверушка, ласковая и нежная симпатяга, да к тому же в очках. Ну просто вылитый наш зам по тылу, эта кобра очковая, будь он неладен.

Но Боцман не обижался – пацанва шалопутная, ну что с него взять. И даже благоволил ему, стоически перенося все его проделки и даже по-отечески оберегал и заботился. Боцман сам взял себе такой позывной в память о флотской службе. Впрочем, он вполне ему соответствовал – эдакий морской волк, точнее, краб – клешнястый, кряжистый, что вдоль, что поперёк одинаково широк, глаза прячутся за наплывающими надбровными дугами с лохматящимися кустистыми бровями, взгляд исподлобья, голос басовитый и раскатистый, как морской прибой в приличный шторм. Так что никак на благородного лорда, а тем более панду он не тянул.

Я неторопливо поведал о том, чем живёт Россия, потягивая терпкий, настоянный донником, желтоватый чай и украдкой поглядывая на часы. Стрелка ползла вниз, и пора было уезжать.

– Ладно, мужики, комбат машину ждёт. Жаль, не повидался с Рыжиком.

– А ты в следующий раз на ночь приезжай. Как раз и повечеряете, и поговорите, – улыбнулся Боцман. – Да и вообще возвращайся, поговорим.

Их взяли на рассвете. Точнее, только попытались, но если бы не Рыжик – как пить дать спеленали бы, либо порешили бы здесь, в траншее. Лёшка уже за полночь, сдав смену Выксе, расположился за блиндажом в высокой траве. Небо ещё с вечера затянуло, не распогодилось и ночью, ломило простреленную руку, и сон долго скрадывал его, но так и не одолел окончательно. За год войны он многому научился, а вот спать, расслабив-

шись каждой клеточкой тела, так и не сподобилось. Вот под разрывы спал, как говорится, без задних ног, а как только наступала ночь либо наваливалась тишина, так сразу пробуждалось подкорковое чувство опасности и не отпускало до утра.

Рыжик примостился рядышком, свернувшись калачиком, и Лёнька старался не шевелиться, чтобы не потревожить его. Душно и тихо, даже сверчки отложили свои скрипки. Разведка из восьмого полка спецназа ВСУ⁶ перевалила через бруствер неожиданно и бесшумно, когда сон сморил Выксу. Даже не сон, а какая-то дурь навалилась и спеленала сознание. И глаза вроде бы открыты – не распахнуты по обыкновению, лишь вытянулись в щёлочку, и слух ловит какой-то шорох, только не передаёт сигналы опасности в мозг, который и видит, и слышит, и принимает решение. Накопленная усталость, как потом пытался я оправдать Выксу. Почти год безвылазно в окопе, не то, что усталость накроет – крыша поедет.

Неожиданно лисёнок встрепенулся, поднял острую мордочку, потянул в себя мокрым носом ночные запахи. И вдруг, вскочив, залился тонко и пронзительно. Заполосный лай Рыжика сорвал с Выксы оцепенение. Он отпрянул от стенки окопа, но тот час же тяжёлый удар по голове свалил его. На него навалились, дыша учащенно и яростно, переворачивая на живот и заламывая руки за спину, засовывая в распахнутый от боли кричащий рот кусок тряпки.

Боцман сидел на топчане, примостившись под тусклой лампочкой, и в который раз с упоением перечитывал «Морские сны»⁷, когда заголосил Рыжий, и следом с силой распахнулась дверь, и двое метнулись к нему. Боцман откинулся на стену, поджимая ноги к подбородку, и нацеленный в голову приклад лишь скользнул, сдирая кожу у виска. Пружиной выпрямляя ноги, он ударил ими в живот нападавшего с такой си-

6 8-й отдельный полк специального назначения Вооруженных Сил Украины (Хмельницкий полк спецназа).

7 В.Конецкий «Морские сны»

лой, что тот, взмахнув руками, отлетел обратно к двери, едва не свалив второго. С каким-то звериным рыком Боцман вцепился в куртку на его груди и с силой потащил впереди себя, выталкивая из блиндажа.

Всхлипы, хрип и шум возни порвали ночь в клочья. Лёнька сорвал с пояса эргэдэшку⁸, разжал усики, рванул чеку и метнул её в окоп. Осколки собрали стенки и взэушники. Тот, что не успел спрыгнуть в окоп, резанул длинной очередью по верх бруствера, обрывая лай Рыжика, и бросился прочь к нейтралке. Он успел пробежать с полсотни метров, как раздался взрыв, дробя крик на короткие и затихающие «а-а-а-а».

Выкса вытащили из-под обмякшего и сразу отяжелевшего спецназовца, принявшего в себя смертоносный металл, и теперь он сидел, привалившись спиной к стенке траншеи, сжав ладонями разламывающуюся от боли голову и глухо мыча.

Боцмана осколки не достали, лишь шандарихнуло о дверь взрывной волной да немного оглушило.

Рыжика похоронили за околицей хутора. Лёнька плакал, Боцман сопел и отворачивался, а Выкса виновато тупил взгляд и предательски шмыгал носом.

– Доброволец. Ополченец. Погиб в бою, – глухо произнёс комбат, перевёл флажок автомата на одиночный и трижды выстрелил, разорвав тишину, случайно забредшую на прифронтовой хутор.

Я вернулся после Спаса, когда лето уже вовсю разворачивается к осени, жухнут и растворяются краски, а утренники свежи и прозрачны. Воздух, напитанный духмяным запахом разопревших на солнце спелых яблок, щекотал ноздри.

– А Рыжик погиб, – вместо приветствия как-то бесцветно выдавил Леший.

– Как?

– Боцман расскажет. Вон там он, – и кивнул в сторону гаражей.

Он сидел у прогоревшего костра и ворошил палкой уже затухающие угли. Молча сунул руку, здороваясь, налил кружку чая:

– Уже знаешь?

– Комбат сказал...

Боцман раскурил трубку и стал рассказывать. Говорил он непривычно тихо и монотонно, лишь изредка отрывая взгляд от костерка и устремляя его на курящийся террикон.

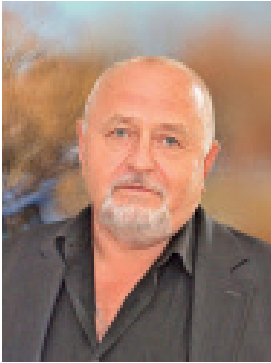
Чай давно остыл, ушла терпкость травяного настоя и я, отпив глоток, поставил кружку. Боцман спрятал трубку в карман и поднялся:

– Я сейчас обратно. Если хочешь, можем на хутор к Рыжику завернуть. Мы его там похоронили.

«Уазик» иступленно трясся, наматывая грунтовку на лысые покрышки. Боцман угрюмо молчал. Молчал и водитель, лихо объезжая колдобины. Молчал и я. Хуторок вынырнул из-за леска неожиданно. До боли знакомый, он выглядел каким-то запущенным и чужим.

Маленький холмик с нетёсаным рыжим песчаником был виден с дороги. Три стрелянные автоматные гильзы, перевязанные георгиевской ленточкой, и прислонённая к камню табличка: «Доброволец ополченец Рыжик».





Александр ТАРАСОВ

Коля-лыжник

Рассказ

Давно это было, чуть ли не полвека назад, в конце пятидесятых-начале шестидесятых годов двадцатого столетия. Я в школу тогда только начинал бегать, сорванцом и неслухом слыл, но учился хорошо, считался способным, что и спасало меня от многих неприятностей. Родители мои были людьми горячими, вспыльчивыми, но незлопамятными и быстро отходчивыми.

Школа наша, восьмилетка, громоздилась на возвышенности, была она низкой и тёмной, раньше здесь располагался мужской монастырь, а во время оккупации немцы приспособили здание под конюшню.

Школа не вмещала сразу всех, кто был в неё записан, и потому учились мы в две смены – одни до обеда, другие – после, причём во вторую смену почему-то учились только старшеклассники.

Стены школы были толстыми, прочными, вокруг росли дубы, клёны и несколько берёзок, а за ними ежегодно весной школьники разбивали огородные грядки, где росли огурцы, помидоры, капуста, тыква и даже картошка.

Опять же весной окрестности школы разрывались

от звона птичьих и ребячьих голосов, на верхушках деревьев гнездились не только пернатые, но и учащаяся мелюзга. Не было на переменах для нас большего удовольствия, чем покачаться на ветвях, показать свою смелость и сноровку друг перед другом. Гоняли нас за то учителя нещадно, наказывали, как могли. И чем больше они это делали, тем сильнее нас влекло «обезьянничать».

Как и теперь, так и в те годы, в школах царствовал матриархат, педагогов мужчин можно было посчитать на пальцах одной руки. В нашей, например, таковых было трое – директор школы, учитель математики в старших классах и специалист по хозяйственной части, он же и столяр, и плотник, и стекольщик, и... В общем, когда что-то срочно нуждалось в починке, звали Николая Ивановича.

Николай Иванович был очень интересной личностью. Маленького роста, худенький, черноволосый, он ходил всё время в одной и той же униформе: синий хлопчатобумажный пиджак и точно такие же брюки, которые были заправлены в зависимости от погоды в кирзовые или резиновые сапоги. Причём размер сапог для него был очень большой. Николай Иванович наматывал на ноги сразу несколько портянок, ходил, шаркая подошвами по земле, словно на лыжах и, видимо потому, в школьной среде Николая Ивановича величали не иначе, как Коля-лыжник. Детей у него своих не было, жену он привёз с фронта, и была она без кисти на правой руке.

Николай Иванович мог смастерить что угодно, причём при помощи самых примитивных подручных средств и инструментов. Человеком он был безотказным и доброжелательным, но только в том случае, если был трезв. А трезвым он был очень редко, за что и страдал почти всё время. Проблема усугублялась ещё и тем, что «по пьяной лавочке» Николай Иванович любил петь, плясать или рассказывать небылицы. Всевозможных пословиц, прибауток, анекдотов, частушек и песен, зачастую не всегда «печатных», он знал несчётное количество.

*Дед бабке купил
Зелёные трусики
Штобы мухи не кусали
За чёрные вусики –*

Прогремело однажды в школьном коридоре, в то время, когда в классах шли занятия. Частушку, естественно, услышали все до одного. Не стало секретом ни для кого и то, как Николай Иванович, громыхая сапожищами по полу, пританцовывал. Голос у него был на удивление высоким и звонким. Учителя практически всех классов выскочили в коридор. Вышел из кабинета и директор школы, быстро подхватил певца под руку и молча поволок его к себе. О чём они там беседовали – можно только догадываться, но минут через десять вся школа вновь услышала: «расцвели цветки лазоревые, а ты всё мне неверна!». И это пение прошло так же под аккомпанемент грохота сапогами.

Это был не единичный случай.

Возмущению учителей, особенно женской части, не было предела, они требовали «немедленно принять самые жёсткие меры по отношению к хулигану», вплоть до увольнения. Но директор школы с удивительным упорством и изобретательностью всякий раз находил всё новые аргументы в пользу Николая Ивановича, не увольнял его и даже официально не делал ему порицания.

Пацанва, наоборот – души не чаяла в Коле-лыжнике, ходили за ним табуном, и он их учил пилить, строгать, мастерить, а когда был на «нетвёрдых ногах», то травил им байки, пел частушки. Часто в такие часы можно было слышать в столлярной мастерской и стук молотков, и шарканье ножовок по дереву и хоровое:

*Поезд мчится, рельсы гнутся,
Под мостом попы дерутся,
Один маленький попок
Откусил попу пупок,
и дружный хохот.*

Приходил директор, если был на месте, забирал Николая Ивановича в свой кабинет, потом или укладывал его на своём диванчике, или отправлял домой, если он ещё был «при памяти».

Однажды в школе вспыхнул пожар. Вернее, не в ней самой, а в пристройке к столярной мастерской. В пристройке долгие годы хранились плакаты, таблицы, небольшие снопы пшеницы, ржи и кукурузы – наглядные пособия для учащихся. Подсобка никогда не запиралась под замок, во всяком случае, в дневное время, туда без надобности редко кто заглядывал из учителей, зато огольцы-учащиеся облюбовали это место под курилку и дымили там «Прибоем» и «Памиром» нещадно. И вот докурились. Деревянная сухая постройка полыхала ярко и жарко, к огню на близкое расстояние нельзя было подойти, пожар быстро перекинулся через коридорчик в мастерскую: сначала загорелась одна сторона крыши, покрытой рубероидом, потом вторая. Чёрный, густой дым валил столбом.

С белыми, как мел, лицами, директор и учителя растерянно топтались в стороне и то и дело тревожно переспрашивали друг друга – не остался ли, не дай Бог, кто-либо из учеников в мастерской.

– Клава и Зина из нашего класса там, – дрожащим голосом, шмыгая носом, заявила вдруг молчавшая до сих пор конопатая третьекласска.

– Как?!.. Да что же вы!..

Ошарашенный страшной новостью, директор побелел ещё больше, приложил обе руки к груди и стал медленно оседать на землю. Все в школе знали: он был сердечником. Учитель математики – высокий, белокурый, сильный мужчина, подхватил директора под руки и стал требовать срочно найти валидол. Поднялась бестолковая суета, многие из взрослых уже забыли о пожаре, топтались на месте и нервно справлялись друг у друга: нет ли у кого в карманах того, что тре-

бовалось. Ни у кого ничего, как на грех, не было, от того суе-ты становилось ещё больше, директору становилось всё хуже, и учитель математики, не в силах больше удерживать обмякшее тело грузного директора, бережно положил его на землю.

– Что же вы его так? Подстелите что-нибудь! – сделала замечание математику одна из коллег.

– Вот вы и подстелите! – огрызнулся математик.

Как, в какой момент из дверей школы, словно из берлоги, нетвёрдо вышагнул на порог заспанный Николай Иванович, никто не заметил. Несколько секунд он недоумённо взирал на полыхающую ярким пламенем мастерскую, словно пытался удостовериться – не снится ли ему сие.

– Там Клавка с Зинкой в мастерской! – крикнули ему пацаны и тем самым вывели его из прострации.

– Что-о? Где-е? Так чего же вы все, мать вашу...

Николай Иванович грубо выругался и сразу словно протрезвел, побежал в школу. Через несколько секунд он вернулся с большой тёмно-зелёной буркой и ринулся в бушующий зев пламени.

Те секунды или минуты, что находился Николай Иванович в пылающем, задымлённом здании, оставшимся на улице показались вечностью. Кто-то даже высказал предположение, что Николай Иванович уже задохнулся или загорелся. Однако, звон разбитых стёкол на окнах с той стороны мастерской, которая ещё не горела, вывел охваченных паникой людей из оцепенения.

Девчонок, бывших чуть ли не в бессознательном состоянии, Николай Иванович буквально выбросил из окна одну за одной и тем же путём выбрался сам.

Руки Николая Ивановича были обожжены, и он заметно пошатывался. Девчонки не пострадали, хотя были до смерти перепуганы и не могли вымолвить ни одного слова.

* * *

Хоронили Николая Ивановича через две недели после пожара. Умер он дома ночью, на сеновале от сердечного приступа. После пожара он ни одного дня не был трезвым, больницу игнорировал, хотя руки и часть лица его обгорели очень сильно. Соседка рассказывала, что когда утром его обнаружили мёртвым, в левой руке он сжимал крестик на верёвочке.

По случаю похорон директор школы Пётр Гаврилович Прошкин отпросился из больницы, где он лежал с сердечным приступом, и всё организовал «по высшему разряду».

Многие односельчане, в особенности коллеги по работе, были в шоке не столько от смерти Николая Ивановича, сколько от того количества наград, которые несли на подушечках впереди похоронной процессии школьники.

– Это был настоящий советский человек со всеми присущими нам достоинствами и недостатками, – сказал в прощальном слове Прошкин. – Человек с золотой детской душой и золотыми руками. Фронтовик, воин, награждённый шестью боевыми медалями и двумя орденами за защиту Сталинграда и форсирование Днепра... Он служил в полковой разведке.

Директор тяжело, судорожно вздохнул и некоторое время молчал.

– Я тоже принимал участие в форсировании Днепра, знаю не понаслышке, как там было дело, тоже имею орден... Мы, к сожалению, в то время не были знакомы друг с другом... Я, честно сказать, мало делал для того, чтобы Николай Иванович и его жена жили достойно, не бедствовали... Хотя старался я, как мог...

Прошкин вновь судорожно хватанул ртом воздух и сокрушённо махнул рукой...

Через три месяца после похорон на адрес школы пришла бумага, в которой уведомлялось, что Николай Иванович Демьянов награждается посмертно медалью «За отвагу на пожаре».



Елена ЛУКАНКИНА

Осень на улице Тёплой

Рассказ

Сенечка открыл дверь в самый жуткий момент непоправимого. Белая девичья рука глухо упала в листву. Последний звук человека.

– Вы чего ж, окаянные-то, натворили?

– Иди, дед, домой, пока жив! – послышался сухой, потрескивающий, как щепка в костре, голос. За ним грохнул мокрым кашлем ещё один.

– Сенечка, кто там? – зазвенел другой – женский.

– А то и старуха твоя до утра не доживёт.

Сумерки густели на глазах, и силуэт высокого крепкого мужчины был едва уловим. Совершенно безликий, только контуры. Вроде как человек. Но чужалось, что нелюдь. Ни одной черты не лежало на нём. Ничего живого, человеческого. Как статуя, стоял он во дворе. Фонарь перегорел ещё с неделю назад, и Сенечка, как ни старался, не смог прочесть тёмного лица. Не осталось в этом изваянии души. Словно вышла она вся – остыла.

Жестокость звериной молодости сковала этого маленького человека на склоне лет у порога своего дома. Сенечка не оробел, не опустил глаза, а только покачал головой и закрыл

дверь. Словно весь огромный и беспощадный мир, воплощённый в этом чудовище, не пустил он в свой дом. Сенечка подошёл к окну. Две тёмные фигуры помелькали во дворе и исчезли. Забор скрипнул и замолчал.

– «Скорая»? Дочка, дочка, ты меня слышишь? У меня тут женщина мёртвая. Или девица – по темени не разберёшь, – Сенечка сбивчиво старался объяснить, что произошло. – А? Да, да, мёртвая, говорю. Совсем. Во дворе моём. А? Да, во дворе, говорю же. В полицию? Нет. Поумнее будете – сообщите, куда следует. Мне впервой такое. Может, живая? Может, и живая. Хотя нет. Точно нет. Лежит вон. Плохо лежит. Забрать бы поскорее. Слышите? Вот. Забрать. Не надо оставлять её тут на ночь. К нам и лисицы, бывает, забегают. А? Адрес? Тонь, а Тонь? Адрес-то у нас какой? Позабыл я совсем.

– Матьер Небесная! Кто у нас там во дворе? – снова издалека послышался звенящий голос.

– Адрес говори наш! Врачи спрашивают.

– А! Тёплая. Ой, Лермонтовская. Всё забываю. И зачем меняли? Путаница одна. А что за врачи, Сенечка? Не поняла.

– Лермонтовская, дом 2. Слышите? Вы ещё там? А? Убил кто? Да молодчики какие-то. Почём мне знать! Темень – на дворе-то. А? Темень, говорю, как разглядеть-то их? Рослые. Злые. Меня с женой порешить хотели.

– Сенечка, что происходит? – снова послышался голос из кухни.

– Погоди! Дочка, слышишь меня? Алло, алло...

Сенечка раздосадовано положил трубку. Снова снял, проверил, нет – гудки.

– Приедут, говорят. Ждите, – крикнул он в ответ, в коридор.

– А кто во дворе-то у нас, Сенечка? Не разобрала я чего-то.

Покачиваясь, появилась Тоня – в переднике простень-

ком, в косыночке, а на плече коса седая тонкая вьётся. Прибранная вся, улыбчивая, неспешная.

– Не ходи туда! Чай мне поди, поставь.

– Чай? – растерянно переспросила Тоня.

– Да, чай, чай... – Сенечка махнул рукой, и хозяйка заспешила обратно на кухню.

– Ходят тут всякие. Не сидится им дома...

Сенечка накинул фуфайку и снял крючок с петли. Дверь поддалась, свет пролился во двор, и всё та же картина явилась перед глазами. Лежит в листве чёрная совсем – без жизни, без звука. Лежит, как камень. Сенечка подошёл ближе. Нагнулся, очки поправил. Всмотривался, как мог, но лица не разглядел. Вечер уже стоял тягучий, у воды он всегда такой – как смоль. Влажный и топкий. Прислушался – может, дышит? Комаров с реки услышал, собачий лай с того берега, далёкий стук своего сердца, а от неё – стынь. Рука одна выглядывает из всей этой мглы. Белая, как мрамор. Изогнутая, красивая. Молодая, видать.

Читал он когда-то в журнале про восьмидесячную глиняную армию, которую обнаружили местные крестьяне в Китае лет сорок тому назад, когда бурили скважину. Вот и сейчас листва лежала перед этой убиенной, как преданная армия её воинов. Преданная, но такая же неживая, как и она сама.

– Плохо, ой, плохо всё это!

– Сенечка, ты куда пропал? Чай остывает! – крикнула из дома Тоня.

– Иду, иду, – забурчал тот и поспешил в дом.

От реки тянуло обжигающим холодом. Больная нога в такую погоду начинала ныть, и Сенечка торопился в тепло.

– Чего там во дворе-то? Шастаешь туда, на ночь глядя.

– Убили там кого-то, – спокойно ответил тот и сел на табурет.

Из её рук выскользнула чашка, и чай ошпарил Тонины ноги.

– Что ж такое-то! – она засуетилась, забежала, словно забыла про боль.

– Да ты успокойся! Сейчас врачи приедут. Велели ждать. Мы-то уже ничего не поделаем. Сердце раз остановилось – больше не пойдёт.

– Сенечка, и вправду, убили? – испуганно переспросила Тоня и села на соседний табурет.

– Говорю ж тебе, убили. Совсем. Навсегда. Раз и всё.

– Раз и всё? – её голос дрожал. – И кто же?

– Бугаи какие-то. Почём я знаю! Но главного-то я видел. Хотя не видел я его совсем, но признал, что он её – того. Час-то седьмой уже. Сколько их там было душегубов этих – пойми сейчас. Люди-то совсем осатанели! В чужой двор зашли и убили. Как это так? За что? Война что ли какая? Жизнь-то одна. Она – чья-то, не принадлежит никому, кроме Бога. Как же ж отобрать её вот так бесцеремонно. А стариков пожалели. Ну, спасибо! А ту-то – за что?!

Сенечка не унимался и совсем раскраснелся. Давление поднималось.

– погоди. Не горячись так. Они тебя видели?

– Видели, видели, – Сенечка положил ладонь на её локоть.

– И чего?

– Ничего. Говорят – уматывай к себе подобру-поздорову и дверку с обратной стороны закрой.

– Ой, Матерь Небесная! Что же будет? – Тоня закрыла ладонью искривлённые дрожью губы.

– Что будет? Что будет? – деловито повторил Сенечка.

– Приедут и заберут убиенную. А на небе разберутся без всех нас, вместе взятых.

– Они же и к нам вернуться могут? – в глазах Тони стекленел страх.

– Кто?

– Бугаи твои!

– Отчего ж они мои-то? – возмутился Сенечка.

– Сенечка, я не шучу!

– Дааа, – затянул он. – Чаю бы сейчас попить в самый раз, – и посмотрел на разбитую вдребезги чашку.

– Прибраться бы, – растерянно сказала Тоня, заглянув под стол. – Пойду я за веником. А ты к двери иди – врачей встречай.

Через несколько минут приехала «скорая». Следом прибыл и участковый Степан Петрович. Благо – живёт через три дома. Начались расспросы. Но от показаний Арсения Ивановича толку было мало. Темно стало – вот и весь сказ по существу, если без деталей. А если с ними: драка во дворе, шум-гам, дверь настежь, два молодчика, женщина в листве, и всё. Кратко, динамично, но картина туманная. Но как-никак история – записали.

Антонина Ильинична и подавно не могла говорить – всё плакала и во двор рвалась – убрать, листву окровавленную граблями собрать. Но улик велено было не трогать. И Тоня малость подутихла, но продолжала причитать про себя. Да и что она могла рассказать путного, чем в деле помочь? В доме суп стряпала, ничего не видела, слышала только – ругались за окном громко. Но мало ли кто там ругается? Дело-то житейское. Вот, мол, муж и вышел посмотреть.

Народ во дворе всё прибавлялся, соседи понабежали. А понять было нечего. Кто убил? Зачем? Кого? Беспокоило Сенечку и другое тяжёлое неведение – как жизнь у бедняжки отобрали? Услыхал только про какой-то тупой предмет. Но, поди, его найди – предмет-то в темени! Фонарь-то непочиненный.

Час покружились возле его дома всякие разные зашельцы в погонах, вспышками осветили и двор, и сарай, и хату. С самых разных сторон сыпались огни. В дом даже зашли блюстители. Обнюхали кругом всё. Степан Петрович обещал поутру вернуться.

Белая простыня поверх, шум сирен, уходящие во мрак люди. Вот и всё – истории конец. Двор снова замолк, угомонился.

Тоня скрылась в доме. А Сенечка сел на пенёк и закурил. Долго он смотрел вдаль, где протекала река. За редкими деревьями и забором она не проглядывалась. Видать, не рябила совсем, гладью затянулась, как зеркалом, под чёрным небом. Но, кажется, слышалось, как готовится она ко сну. Вся жизнь в ней умолкла – ни всплеска, только тишина стынувшей воды. И в небе звёзд – малая россыпь. Смотрел Сенечка и молчал.

Так просидел он за длинной, тлеющей папиросой и в дом вернулся. Жена прилегла на диване. Он беспокоить её не стал. Сел на табурет. Бороду седую гладил, утюжил то и дело сухими пальцами. Почесал затылок. Встал и в комнату дальнюю побрёл...

Тоня проснулась посреди ночи от острой тревоги – да такой, что сон она обрезала вмиг, как сабля стебель. Привстал – не понимая, сколько времени за окном. Тени от рамы лежали на полу наискосок, лучами к её ногам. Тоня тихонько позвала Сенечку. Тот не отозвался. В глубине дома блеснула полоска света. Тоня потянулась за ней.

У окна сидел Сенечка и смотрел в непроглядную ночь.

– Сенечка? – уже без тревоги, но в недоумении спросила она.

– Спать иди! – его голос был непреклонен и сух.

– Ты чего тут делаешь? Не спишь почему?

– Тоня, иди спать! Иди и не спрашивай!

Тоня растерянно перекрестила его и пошла. Пошла спать – как и наказано мужем.

Сенечка сидел у окна и ждал непрошенных гостей. Вернутся – не вернуться, но дом надо было охранять. В руках он сжимал старенькое охотничье ружьё. От оплавленной церковной свечи стекло запотело, и даже своего отражения он

разглядеть не мог. Битый час сидел – недвижим и натянут, как струна.

Армия павших по осени кленовых воинов лежала у ног его покосившегося, ещё дедовского, дома. Всё молчало в эту ночь. И такую тишину нельзя было нарушить, она наливалась отовсюду. Сон понемногу затуманивал глаза и вскоре вовсе заволокло.

Тоня поднялась рано утром. На соседней кровати одеяло было заправлено.

– Сенечка! – вскрикнула она, подскочила и зашаркала по холодному деревянному полу.

Он лежал на столе с ружьём в руке. На жестяной подставке застыл восковой холмик ночной свечи.

– Господи! Сенечка! – закричала Тоня в голос.

– А! – тот вскочил, как ошпаренный.

– Живой! Боже ж ты мой!

– Кто живой?

– Да ты! Ты! Ты! – зачастила она, бросилась и начала горячо целовать его голову.

– Ты это брось! – ворчал он, сдерживая ласковую Тоню.

– Ты чего кричишь-то так! Сердце чуть не оторвалось.

– Тут что ли спал?

– А? Тут, вестимо. Задремал немного, видать. Приходил кто?

– Да никто не приходил! А ты ждал, поди, этих-то. Ружьё вон достал.

– На всякий случай... Сама ж говорила – вернутся ироды.

– Эх, горе ты моё луковое! Пойдём пироги есть. Со вчера остались, – Тоня потянула его за рукав. – И фуфайкуними.

– Пироги – это дело хорошее! – ответил он и стянул тяжёлую одежду.

– Спина-то теперь каменная. Спал ведь на столе.

– Ничего, каменная, каменная, да гнётся, как ветка.

– Ой, ой, как ветка... – усмехнулась Тоня.

Во дворе на стол, укрытый старенькой целлофановой скатертью, слетел голубь и стал клевать сухую лузгу. Нет, не голубь – голубка.

– Плохой знак, – буркнул Сенечка, не отходя от окна.

– Не в окно же бьётся, – ответила Тоня и протянула мужу самый большой кусок пирога.

– Да, не в окно, – протяжно повторил он, оглядывая птицу.

– И голубка-то белая. Посмотри – какая!

Сенечка положил пирог на тарелку, снова накиннул фуфайку и вышел во двор. Он выгреб из кармана семечки. Голубка даже не вздрогнула и, как ручная, принялась за них.

– Ешь, ешь, – причитал умилённый Сенечка. – Ты, прилетай! Мы тут с бабкой одни живём. Сдружимся. Кормить кого будет, а то моя причитает, что семечки мне нельзя, вредные они. А ты поешь, белая.

Тоня смотрела на Сенечку и улыбалась. Голубка и впрямь была, как своя, родная. Белая, но с пёстрыми крыльями. Потом она вдруг слетела со стола, взмыла и села на край погребницы. Сенечка заметил, что дверь её приоткрыта. Заглянул, осмотрелся и ахнул – за старыми мешками виднелся край лопаты, с окровавленным черенком. Вчера-то впотьмах не разобрал никто. Отодвинул Сенечка мешки и признал родимую.

– Вот ведь, гады! Моей лопатой! Я ею землю сырую сыну своему выгрызал, как сердце этой лопатой вынул. А они... – его голос дрогнул.

Сенечка плотно закрыл дверь и, прихрамывая, поспешил в дом – звонить участковому.

На покато́й крыше белая голубка пообвыклась, окрестности оглядела и крыльями взмахнула. Опустилась на землю и принялась ворошить листву, которая на утро лежала уже свежая. Следов вчерашнего преступления опадающий клён не оставил. Что ему наставления городских? Усыпал двор новой

листвой, и живи себе дальше. На смерть не гневайся. Улица
Тёплая в памяти толк знает...

Всё начиналось, как игра...

Стихотворения

Гнёзда

Дом кособокий топодем заснежен.
А на опушке в дедовом саду
изба увита зеленью, как леший.
Горят огни несобранных черешен.
Пустые окна, в каждом – по кресту.

Бежит река. Дорога не пылится.
Дома в деревне пустят на гробы.
Не потому ли в каждом строит птица
своё гнездо, спешит весной родиться
и отпевает небо из избы.

Метроном

По радио как сердце Ленинграда –
удары метронома. Будет бой.
42-й. Зима. Война. Блокада.
И дядя Саша – мальчик с Моховой.

Он помнит гул – кресты чернели в небе,
как лёд с Фонтанки в котелке крошил
и собирал для брата крошки хлеба.
...И сколько дней Серёжка не дожил

в прозрачном колокольчиковом теле,
когда б ему пошёл четвёртый год.
– Дед, ты чего? Давай на те качели!
– Пошли, родной.
За внуком дед идёт.

А в голове седой стучат упрямо
удары метронома – точный срок:
Сто пятьдесят в минуту:
– Бомбы, мама!
А пятьдесят:
– Не бойся, спи, сынок.

* * *

Как это нам легко дано –
задумчивая песня птицы,
тропа, чтоб к берегу спуститься.
Всё безмятежно и родно.

Стоят деревья у воды
и корни с берега роняют,
река колдует над корнями,
и замечает мох следы.

Лесная чаща говорит –
жуком в траве и треском сучьев,
и мошкаррой в сетях паучьих,
луною, что в реке горит.

А воды стихли – знака ждут,
когда пойдут волной по краю,
кругами рыбы заиграют.
Играют – говорят, к дождю.

Как будто мы росли в лесу –
костром дышали и удили,
и никогда не уходили
за ту намытую косу.

И к ночи не осталось слов.
Промолви – и ты весь расплёскан.
Нас нет. Мы – просто отголоски
среди всех этих голосов.

* * *

Всё начиналось, как игра,
и в небе с самого утра
жирафы шли своей тропой,
шли носороги к водопою,
и восседал на ярком пике
непобедимый и великий
Саванны белогривый лев.
В ветрах небесных уцелев,
в прыжке растаял. По дороге
ушли жирафы, носороги –
весь мир больших животных белых.
И тихо девочка запела
у серебрящейся воды.
А по воде плывут следы
летающего повсюду пуха,
и слышит маленькое ухо –
рекой уходит белый зверь
как облако в пустую дверь.

Маши́н Новый год

Платок, под ним – глаза и рот,
окно замёрзшее подвала.
У Маши в этот Новый год
сил и больших желаний мало:

проснуться и лежать в тепле,
и чтобы мама не простыла,
и всюду снег, и на столе
совсем немного хлеба было.

И Маша тянет пальчик вверх –
к стеклу: бабуля, тётя Надя,
её Серёжка с Галей – всех,
кто не придёт, она посадит

за свой стеклянный тёплый стол
голодной ленинградской ночью.
Сорок второй, пришёл, пришёл!
И Маша, сытая, хохочет.

...Уснёт. И в животе пустом
урчит. Вот печку топит Галя,
с мороза папа входит в дом,
что на дрова не разобрали.

Окно Блока

Матисов остров. Пряжка. Церкви.
Над краем леса фабрик дым.
Треноги мачт и краны верфей.
Туман над городом и стынь.

Река под Банный мост в изломе.
От моря пряность. Чаек крик...
Всё – в том окне в доходном доме.
Там жил поэт. Там запах книг.

И тень его, и папираса.
И пламя в небе над водой.
Городовые и матросы.
И призраки на мостовой.

Лихое время – не угнаться.
Где царь, где вождь? Кто мёртв, кто свят?
Лист. Лампа. Руки. Стол. «Двенадцать».
Санкт-Петербург и Петроград.

...На Декабристов – солнца знамя.
На Офицерской – тихий снег.
В окно на Пряжку в чёрной раме
Серебряный впадает век.

* * *

Луч уходил меж перелесков
по травам к осени сухим,
как с губ слетевшие стихи,
как мягкий свет в оконных фресках.
Под вечер – солнечные всплески,
а на заре – печаль и дым.

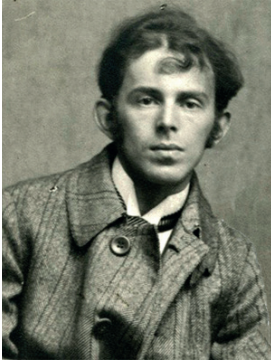
Такая горькая улыбка,
такая светлая игра.
Пора, мой друг, огню пора
гореть таинственно и зыбко
в костре, как золотая рыбка,
что уплывает из костра.

Среди оставленных отметин
всех отплавших сентябрей –
листва, что кажется старей,
когда её тревожит ветер,
и паутина ловчей сетью
заброшена меж фонарей.

* * *

Ночь без звёзд обо всём не с тобой говорит,
на глазах синим пламенем небо горит.
Повиси, как вопрос, в безответной толпе,
и никто ничего не ответит тебе.
Выходи из себя постоять на ветру.
У того, кто незрим, ты всегда на виду.
Он тебя разглядит из последних одежд
и сомненья поставит в предложный падеж.
Ты о ком и о чём? Кто оставил тебя?
И тогда всё исчезнет – как нет бытия...
Вот звезда, научи её снова дрожать,
как стекло, переставшее свет отражать.
В этот час пустоты, в этот час немоты,
ты придёшь – только так и являешься Ты.





Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ

«Мы живём под собою не чуя страны...»

К 130-летию выдающегося русского поэта

«Стихия музыки» и поэзия Осипа Мандельштама

Статья

В творчестве поэтов Серебряного века искусство музыки занимало особенное место. Хорошо известно, что, например, Борис Пастернак в юности мечтал стать композитором, и от этого времени даже сохранились его первые сочинения, тогда ещё музыкальные, а не поэтические. По утверждению композитора Артура Лурье, у Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938) «было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое». Любовь к музыке поэту привила его мать Флора Осиповна Вербловская, получившая до замужества профессию учительницы по классу фортепиано. Флора Осиповна была родственницей известного историка литературы Семёна Афанасьевича Венгерова, хорошо знала поэзию и читала маленькому сыну стихи Пушкина и Лермонтова – именно под руководством матери Мандельштам в детстве учился музыке и именно от неё унаследовал, кроме музыкальности, обострённое чувство звуков русского языка.

С трёх до шести лет Осип Мандельштам жил вместе с родителями в Павловске, и к этому времени относятся первые по-настоящему яркие музыкальные впечатления поэта. Павловский вокзал был одним из самых важных культурных центров Российской империи. Здесь находился концертный зал, и ежегодно с мая по октябрь в его здании и на улице проводились симфонические концерты, на которых исполняли произведения знаменитых зарубежных и русских композиторов, классиков и современников (для XIX столетия): Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вагнера, Глинки, Даргомыжского, Рубинштейна, Чайковского. О своих детских впечатлениях от концертов на Павловском вокзале – «Элизии», где «свистки паровозов и железнодорожные звонки» мешались с патриотическими звуками увертюры «1812 год», Осип Эмильевич впоследствии напишет в мемуарной книге «Шум времени» (глава «Музыка в Павловске»). Также Павловску посвящено мандельштамовское стихотворение «Концерт на вокзале» (1922), пронизанное воистину «баховской» полифонией звуков, красок, образов:

*...Огромный парк. Вокзала мир стеклянный,
Железный мир опять заморозён.
На звонкий пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это – сон.*

*И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятении и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.
И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.*

*В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!*

Когда Осип Манделъштам стал сочинять свои первые стихи (а произошло это ещё во время обучения в петербургском коммерческом Тенишевском училище), то поэтический облик обрели для него не только музыкальные звуки, но и сама нотная грамота. В повести «Египетская марка», например, можно встретить такой удивительный отрывок: «Нотное письмо ласкает слух не меньше, чем сама музыка. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вниз и вверх. Каждый такт – это лодочка, гружённая изюмом и чёрным виноградом». И ещё: «Нотная страница – это революция в старинном немецком городе». В художественном мире Манделъштама, как в саду на какой-нибудь южной окраине России, в Крыму или в Грузии, гармонично сплетались «низкорослый кустарник бетховенский сонат», «нотный виноградник» Шуберта и «парки с куртинами» Моцарта. Самым же главным композитором для поэта являлся Пётр Ильич Чайковский: его музыку Манделъштам любил с детства, с концертов в Павловске, на всю жизнь «до болезненного иступления».

Со временем слияние музыки и поэзии стали отличительной чертой неповторимого творческого стиля Осипа Манделъштама. Музыкальность рождалась из самой манеры чтения стихов поэтом, его интонации, особого тембра голоса. Так, литературовед Константин Мочульский вспоминал «удивительный голос, высокий и взволнованный», «протяжное пение, похожее на... молитву». А Виктор Школовский утверждал, что Манделъштам «произносил строчки стихов, как будто был учеником, изучающим могучее заклинание. Стихи обрывались, потом появлялась ещё одна строка». Другим важным «камнем» в основании музыкального храма поэзии (ведь для

Мандельштама сложение стихов было сродни священнодействию!) являлся стихотворный метр, в результате проговаривания или «прокатывания» которого поэтом создавались целые поэтические циклы (примером такой манеры письма являются амфибрахии 1933 года – «Квартира тиха, как бумага», «У нашей святой молодёжи», «Когда уничтожив набросок» и другие).

Однако было бы справедливо сказать, что музыка в творчестве Осипа Мандельштама пронизывала не только звуковой строй и ритм, но также образную систему. В процитированном выше стихотворении «Концерт на вокзале» читателю слышатся «рокот фортепьянный», «ночного хора дикое начало», «многосложный крик органа» и «даже разорванный скрипичный воздух». Поэтому совсем не кажется парадоксальным мнение филолога и культуролога Григория Померанца о том, что «пространство Мандельштама... подобно пространству чистой музыки... вчитываться в Мандельштама без понимания этого квазимузыкального пространства бесполезно».

Следует отметить, что есть среди сочинений Осипа Мандельштама одно, которое можно называть музыковедческим. Это доклад «Скрябин и христианство», посвящённый смерти выдающегося композитора Александра Николаевича Скрябина (1874-1915) и прочитанный поэтом в Санкт-Петербургском Религиозно-философском обществе в 1916 году. Замечая, что только дважды в отечественной истории «смерть художника собирала русский народ и зажигала над ним своё солнце», Мандельштам сравнивает кончину Скрябина с кончиной Пушкина. Более того, по утверждению поэта, «Скрябин – следующая после Пушкина ступень русского эллинизма, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа». Вернуть русскому духу его эллинистическую, жизнеутверждающую природу, русской поэзии – богатство мировой культуры, а художественному слову – музыку, из которой оно вышло в античные времена, как Венера из

пены морской, было важнейшей «сверхзадачей» Осипа Мандельштама. Ещё в одном из ранних стихотворений «Silencium» (1910) поэт заклинал, подобно древнегреческому жрецу:

*...Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!*

*Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!*

Александра НИКОЛАЕВА,
член Союза писателей России

Зимний Тамбов – глазами О.Э. Мандельштама

Фрагмент биографического очерка

Один из ярких представителей поэзии серебряного века, Осип Эмильевич Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве в купеческой семье. Учился в Петербургском университете, входил в группу поэтов, сотрудничавших в журнале «Аполлон». Первый стихотворный сборник «Камень» вышел в 1912 году. Поэзия Мандельштама насыщена культурно-историческими образами и мотивами, мыслями о высоком предназначении поэта. Взгляды на поэзию наиболее полно изложены в книге «Разговор о Данте» (1933).

В 1930-е годы Мандельштам несколько раз подвергался аресту, был сослан в Воронеж. В статье «Мандельштамовский Воронеж», опубликованной в книге «Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама» (Воронеж, 1990), её автор В. Л. Гордин описывает пять квартир, в которых жил поэт с женой Надеждой

Яковлевной. В феврале 1936 года в Воронеж к Мандельштаму приезжала Анна Ахматова, в мае этого же года – литературовед Эмма Герштейн, его посещали также актёр Владимир Яхонтов, литературовед Сергей Рудаков, которые оставили свои воспоминания об этом периоде жизни ссыльного поэта.

«В Воронеж он прежде всего привёз себя, – пишет Гордин, – привёз, несмотря ни на что, своё поэтическое восприятие мира, своё восхищение жизнью, свою боль и страдание за неё... Всё то, без чего нет поэзии. Чтобы работать, поэту нужно самое простое и самое сложное: то, чего нельзя ни купить, ни получить в награду, разве что от Бога, – быть поэтом. И Мандельштам оставался поэтом в Воронеже, обогатив русскую и мировую поэзию «Воронежскими тетрадами». В Воронеже Мандельштам работал литконсультантом в местном драматическом театре, с директором которого С. О. Вольфом у него сложились дружеские отношения, в которых поэт так нуждался всегда, а особенно в те трагические, последние годы своей жизни. Свою статью «Мандельштамовский Воронеж» В. Л. Гордин заканчивает важным для нас замечанием: «Отметим попутно тамбовский санаторий, где с 18 декабря 1935 года, по настоянию С. О. Вольфа, отдыхал Мандельштам». В краеведческой литературе, отражающей короткий «тамбовский период» жизни поэта, встречаются разночтения: в одних источниках сказано, что «из Воронежа он прибыл 19 декабря 1935 года для лечения в Тамбовский санаторий для нервнобольных (ныне – кардиологический). Пребывание было недолгим – по 4 января 1936 года»; в других – что он лечился в санатории незадолго до последнего ареста, то есть в 1938 году. Некоторую ясность вносят воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, сумевшей сохранить архив мужа, в том числе стихи «Эта область в темноводье», под которыми стоит дата: «23 – 27 декабря 1936». В её же комментариях даются варианты этого стихотворения с разными датами: 26 декабря, 29 декабря и просто – декабрь 1936 года. Конечно, для исследователей важна точная дата, но

мы, тамбовские жители, гордившиеся тем, что на нашей земле побывал великий поэт серебряного века, удовлетворимся тем, что знаем: стихотворение о «пышущем снегом Тамбове» написано именно в декабре 1936 года...

*Я кружил в полях совхозных –
Полон воздуха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны – реки обычной –
Белый, белый бел-покров...*

Одновременно со стихотворением «Эта область в темноводье...» написаны два других – «Вехи дальнего обоза...» и «Как подарок запоздалый...». Надежда Яковлевна Мандельштам уточняет, что они «появились вместе. Первая дата стихов этой группы – 23 декабря». И далее вдова поэта приводит интересную для нас деталь: «В стихотворении... упоминается особняк. Это санаторий, где О. М. провёл несколько дней и откуда писал такие отчаянные письма. Это развитие темы – “Въехал ночью в... Тамбов”. Река в Тамбове – Цна. Про это стихотворение О. М. говорил, что в нём чувствуется влияние традиций детской литературы...» Вот эти стихи:

*Вехи дальнего обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес – еловый?
Не еловый, а лиловый.
И какая там берёза,
Не скажу наверняка –
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка.*

Поэту, наверное, были известны события мест, связанные с крестьянским восстанием под руководством А.С. Антонова. Но не этим были заняты мысли автора многих книг и известного стихотворения «Мы живём, под собою не чуя страны...», которое и стало поводом для ссылки. Поэт, словно чувствуя приближение трагической развязки, вбирал в себя всю красоту, которая была вокруг. Он восхищался тамбовской природой, делился в письмах к жене своими впечатлениями: «Здесь... зимний рай, красота неописанная. Живём на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение. Очень настоящие места...». Поэт был очарован белой, пушистой тамбовской зимой и не мог не написать об этом стихи, которые вошли в так называемый «воронежский» цикл. За 16 дней, проведённых в Тамбове, Мандельштам написал жене семь писем и отправил несколько телеграмм. О Мандельштаме написано немало воспоминаний, в том числе и тех, кто был с ним в одном лагере под Владивостоком: В. Л. Меркулов – преподаватель ЛГУ; Е. М. Крепс – крупнейший физиолог, академик; В. А. Баталин – врач и филолог. Воспоминания опубликованы в книге «Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама» (Воронеж, 1990). Меркулов, в частности, пишет: «О. Мандельштам был в карантин под Владивостоком... между 15 и 25 июня 1938 г. вместе с потоком заключённых из Центральной России...» В пересыльном лагере поэт и умер 27 декабря 1938 года

Валентина ДОРОЖКИНА,
член Союза писателей России





Наталья БАРАНОВА

Злокачественная форма одиночества

Новеллы

Сказка о мужской дружбе

Штуцер был настоящим мужчиной. Он гордился своими тремя стволами. Первый был нарезной крупного калибра, второй – мелкого, а третий – вообще гладкоствольный.

Жил он со своим хозяином душа в душу. Любимым занятием обоих была охота. Штуцер никогда его не подводил, а хозяин, в знак благодарности, чистил его регулярно и бережно, а жить разместил на самом почётном месте – на ковре, который висел на стене справа от окна. И, когда приходили гости, он хвастался трёхствольностью своего друга, подробно рассказывая о его достоинствах. Гости ничего не понимали, но искренно восторгались. Брели Штуцер в руки, рассматривали скобу с прекрасной гравировкой, касались великолепных антабок, удивлялись золочёной мушке.

И так продолжалось долго. И так, надеялся Штуцер, будет всегда. Но тут в жизни мужчины появился новый друг. Самое прекрасное на земле – женщина и оружие. И хозяин захотел иметь и то, и другое.

Теперь он стал хвастаться своей женщиной, и больше времени проводить с ней. Она была прекрасна! Штуцер не спорил. Но она не умела стрелять, как он, не хотела ходить на охоту, сидеть у костра и спать в палатке. Хозяин перестал охотиться, чистить своего друга, держать за цевьё и гладить по шейке приклада. Всё бы ничего, но его положили в чехол и задвинули на пыльный шкаф.

А через некоторое время женщина ушла к другому. Такое бывает. Кто их знает, этих женщин, что им не так, и почему они уходят. Штуцер с тоской наблюдал за своим другом, видел, как тот мучается, но ничем помочь не мог.

Все самые трудные решения принимаются под утро. На рассвете его разбудили, мужчина тянул ружьё со шкафа. Штуцер ещё успел обрадоваться. Вот оно! То, о чём мечталось, лёжа на пыльном шкафу. Его вспомнили, зовут на охоту, в лес. Он опять нужен!

Расчихлив оружие, мужчина долго смотрел на него. Провёл рукой по прикладу, переломил ружьё пополам, вогнал патрон в ствол, – одного будет достаточно. Штуцер видел необычность своего положения – прикладом в пол, стволами в лицо, но не понимал, что происходит, зачем зарядили его в комнате. И вдруг взгляд мужчины изменился, такое он уже видел на охоте. Готовность к выстрелу всегда отражалась на лице человека.

Когда друг нажал на спуск, Штуцер не дал распрямиться пружине курка, и боёк не ударил по капсюлю. Осечка.

Двойной лещ

Мечта купить эту помаду жила во мне давно. За последние полгода несколько раз ходила в магазин, ждала праздников – в это время хорошие скидки. И вот дождалась. Мелодично пропиликал смс-кой телефон, возвестил о начале скидок в

магазине. Одна беда, денег в доме не было ни копейки. До зарплаты жить ещё три дня – ездить на работу, выделить мужу на обеды, младшему ребёнку – на утренник, старшему – на кино с девочкой. До следующей скидки помада не доживёт. Обзвонила подружек. Надька сама сидела на денежной диете, дала только 500 рублей. У Светки занимать не хотелось – даст в долг на две недели, а потом звонит через день: когда ей деньги вернут? Но уж больно хотела эту помаду, поэтому переступила через себя, пошла на поклон к Светке.

Мечта сбылась, радуя глаз и лаская душу – строгим, глянцевым, чёрным футляром с золотыми буквами, колпачок нежно щёлкал, притягиваясь магнитиком. Мечта последних нескольких месяцев. Да что месяцев – лет! Кто не был женщиной, тот не поймёт, как трудно выбрать помаду: то цвет не тот, то оттенок темноват-тускловат-ярковат. А бывает и на запах вредная. Нужно, чтобы была не сухая – губы сушит, и не жирная – следы потом на кружках – чашках, и чтобы вкус не стойчивый, иначе потом на весь день вкусовые ощущения обеспечены. Эта оказалась именно та. Одним словом – мечта. Надька и Светка обмирали от зависти, но виду не показывали, ругая, что влезла в большие долги из-за помады. А ведь тоже женщины, и могли бы понять. Не понимали, всю жизнь умели расставлять приоритеты: жили мозгами, а я – чувствами. Женщиной вообще жить трудно. Нужны сапоги к зиме – пойду и куплю летний сарафан. Спросите, зачем? Затем – и всё, и не спрашивайте.

Уже три дня мечта стояла на трюмо и светилась глянцевым боком, поднимая настроение. Сегодня воскресенье, поспать можно подольше, никто никуда не спешит и кушать не просит. Дети будут спать до обеда, а Димка ни свет, ни заря уже поскакал на рыбалку. Страсть мужа к рыбалке бесила. Ну, как можно полдня просидеть с удочкой в тумане, в холоде, в одиночестве и совершенно без мыслей. Долгие годы замужества интересовало, о чём мужики думают на рыбалке. Вот у жен-

щин столько тем на рассуждения не хватит, а у них – тем более. Сладко потянулась, прислушалась к себе – что-то радостное жило внутри. Вспомнила – мечта. Протянула руку к трюмо, и вдруг рука повисла в воздухе. Помады на месте не было. Резко, как током, подкинуло на кровати. Полчаса потратила на то, чтобы обыскать комнату – на полу, за кроватью, под кроватью, перетряхнула ящички у зеркала. Нет, нигде помады не было. Внутри похолодело. Неужели, Мишка в садик уволок. Вчера утром перед садиком подозрительно тихо замолк в комнате. Наверное, тоже понравился блестящий тюбик. Мишку будила долго. Ничего не понимая спросонку, не дослушав, на всякий случай, стал от всего отказываться, поклялся, что не брал. А Серёга посмотрел, как на сумасшедшую – ему тоже помада ни к чему. О муже даже не вспомнила. День жила в противном настроении, дела валились из рук: борщ пересолила, котлеты пережарила, на кота накричала. Нельзя так женщин нервировать, или голодные останетесь, или в дырявых носках ходить будете и без пуговицы на ширинке.

Вечером с рыбалки вернулся муж. Уже по тому, как сиял у порога, было понятно – домой вернулся добытчик.

– Ты сегодня герой? Поймал золотую рыбку, попросил у неё новую стиральную машину?

– Представляешь, дорогая. Ловили мы с Лёхой, ловили... День проходит, а никого нет – рыба, как вымерла. Не считая редких поклёвок, ничего серьёзного. И вдруг, клюнуло – поплавок притопился, а потом потихоньку лёг на воду. Вижу, что-то огромное. Не забыть подсак – главное везение в нашем деле.

Муж достал из рюкзака пакет, в котором трепыхалась большущая рыбина, потянул за хвост и торжественно показал леца. Мужчины – слабые создания, требующие постоянного внимания. С утра до ночи надо окучивать заботой, поливать лаской и брызгать комплиментами, иначе, захиреют. Хвалить за самую мелкую мелочь: поймал рыбу – хвали, пришил пуговицу – целуй, вбил гвоздь – ласково потрепи по затылку, ку-

пил шубу – скажи «спасибо». Чуть отвлечёшься, и уйдёт туда, где хвалят. Поэтому я, тоже сияя лицом, радостно прокричала:

– Дети, идите сюда, посмотрите, что принёс наш папа добытчик. Нет, – повысила мужа в статусе, – Кормилец.

Лещ оказался большим, только одна чешуйка у него с пятак. Муж продолжал с восторгом:

– Такая удача. Лёха засох, завидуя. Предложил ему свою прикормку, а он подтырил. Ты, говорит, кого собрался ловить – рыбу или бабу? Полтинник прожил, а до сих пор не знает, что рыба с радостью ловится на ароматизатор – губную помаду.

Договорить кормилец не успел. Лещ так и прыгнул из моих рук мужу по затылку.

– Так вот кто разрушил мечту! – я кричала так, что, наверное, соседи через стенку приготовились вызывать наряд полиции. – У тебя голова есть? А мозги в голове есть? В школе не учили спрашивать разрешение, когда берёшь чужое?

– Чего орёшь, как потерпевшая, – Димка ничего не понимал, отмахиваясь от леща, который метался у него перед лицом. – Это ж не конец света.

– Хуже! Это убийство. Ты убил мою мечту.

– Подумаешь, помада. Лещ, вот мечта. – Муж отобрал рыбу, запахнул в пакет и сердито пробурчал: – В чём горе-то? Завтра купи две.

– Твою мечту можно каждый день за 300 рублей покупать на рынке, а мою, за 3000, – только раз в жизни.

Муж изменился в лице – защитить затылок я не успела. Такого «леща» даже в детстве от старшего брата не приходилось получать.

На ужин жарила мечту мужа за три тысячи рублей, и со злостью приговаривала:

– Тебе, зараза, повезло, ты хоть успел на вкус её попробовать, а я так ни разу и не покрасилась.



Весенняя песнь Алёнушки



Наедине



Ожидание было весёлым



Птицы как люди – летят за теми, кто любит



Русская красавица.



Жизнь



Клёвое место.



Разлив на Красной дубраве

Злокачественная форма одиночества

Сегодня опять иду по вызову в квартиру. Работая участковым врачом, мне часто приходится бывать в разных домах, видеть чужую жизнь близко. И редко, когда это приятно. Может эгоистично звучит, всё-таки заболел человек, но я обрадовался: мне нравилось приходить именно в эту квартиру, нравилось наблюдать жизнь семьи изнутри. Пусть на короткий миг, но я как бы смотрел красивое кино, где все счастливы и любимы.

Чистота, приятные запахи из кухни, звуки музыки из соседней комнаты – всё это обволакивало благополучием прямо с порога. Женщина – хозяйка этого благополучия, открывшая дверь, была улыбчива, доброжелательна, но всегда холодна. Сегодня она встретила меня без улыбки, наверное, тревога за мужа стёрла её. Поздоровавшись, кивнула на дверь в большую комнату:

– Подождите в гостиной, сейчас я позову мужа, – сказала, проходя в дверь напротив.

В большой комнате стоял стол, накрытый к чаю – белая скатерть в мелкий весёлый цветочек, сервиз, плюшки на большом блюде. Не думаю, что они так торжественно встречали доктора. По всему видно, это была привычка жить красиво. Я вспомнил свой стол в коммуналке, накрытый клеёнкой и две табуретки – одна для меня, вторая для возможного гостя. Гость был возможен, но не приходил, поэтому и скатерть не стелил, и сервизов не заводил. Для одиночества сервизы не нужны. Оставалось радоваться, глядя на чужую, полную тихого семейного счастья, жизнь.

Пока ждал, я снова и снова рассматривал комнату. Здесь не было случайных вещей, каждая стояла строго на своём месте, всё было подобрано по цвету, со вкусом и любовью. От этого создавалась атмосфера дома, которая называется тёплым словом «уют». Центральное место занимала стена, где

висело множество фото с детьми и внуками, но встречать их не приходилось, наверное, как это бывает в жизни, выросли и разъехались. Станным показалось, что ни на одной фотографии не было родителей.

Тихо скрипнула дверь, и в комнату вошёл мужчина, поздоровался, жестом приглашая к столу.

– Простите, что потревожил Вас вызовом. Думаю, со мной ничего страшного, просто с вечера «сердечным образом» нездоровилось, – сказал, улыбаясь. – Но сейчас уже легче. Присаживайтесь, попьём чаю, потом послушаете меня. Болячка за это время никуда не денется.

Он был из тех людей, которых раньше называли смешным словом «деликатный». Кто в наше время извиняется за то, что заболел и приходится беспокоить врача вызовом на дом?

– У Вас впереди долгий день, доктор. Начните его вкусно. – Он пододвинул ближе ко мне блюдо, на нём лежала горка ещё тёплых плюшек. Они были необыкновенными, такие последний раз я ел в детстве у бабушки. И чай был душистый, мой любимый.

Он смотрел на то, как я наливаю чай, беру с блюда плюшку; улыбался, но было видно, что мысленно человек не здесь. Глядя на него, отчего-то подумалось: «Это не сосудистое недомогание, а именно «сердечное». Вряд ли ему помогут лекарства». Чай пили молча, это тяготило, и, чтобы нарушить молчание, я совершенно искренне сказал:

– У вас прекрасный, счастливый дом.....

Хотел добавить, что мне приятно бывать здесь. Закончить я не успел. Мужчина резко вскинул на меня глаза, лицо стало непроницаемым, жёстким, даже враждебным. Это длилось секунду, потом опустил взгляд и сидел, сгорбившись, медленно помешивая чай. И в этот момент я увидел, как дрожит его рука.

– Если бы нашлась женщина, которая просто провела рукой по волосам, ни секунды не остался бы в этом доме, – сказал он ровным голосом страшные по сути слова.

Было видно, что эта мысль давно жила в нём. Совершенно случайно я затронул настолько глубоко личное, что мне стало страшно заглянуть дальше в этого человека, и сделалось неудобно от его откровения.

Одиночество не спрашивает, куда и когда прийти к тебе – имеешь ли ты скатерть с сервизом и плюшками или живёшь с одной табуреткой для друга, которого нет.

Вот так и закончилось кино, которое я смотрел с таким удовольствием.

История жизни, уходящая с жизнью

Дед умирал. Мой сильный, неутомный дед. Соседка вызвала нас телеграммой «Приезжайте, дед отходит».

Он долгие годы после смерти нашей бабушки жил один, считая, что старость обременительна, и не хотел никому мешать. Сколько ни упрашивали, отказывался переезжать в город к детям, или к нам – своим внукам. Всегда говорил: «Где родился, там и содился». За дедом ухаживала соседка: хлеб принести, сигареты, а с нехитрым домашним хозяйством справлялся сам. Трудно было, но привык. С фронта он вернулся инвалидом, ногу ампутировали в самом конце войны, уже и война закончилась, а он всё лежал в госпитале. Бабушке потом пришлось его выхаживать. Так и жил, прыгая по дому на одной ноге, редко цепляя протез, да, и то, когда выходил во двор. Отсутствие ноги не мешало ему радоваться жизни. Хотелось ещё раз увидеть деда, если удастся – поговорить, поэтому мы решили ехать на машине, так будет быстрее. Выехали в ночь, рассчитывая, что к утру будем на месте. Всю дорогу я рассказывал жене, каким был дед.

– Почему был? – поправила меня Ольга. – Есть! Ты же всегда говорил – дед бессмертен, и пока не увидишь его недвижимым, не поверишь.

– Дед бессмертен, даже, если помрёт. Представляешь, у него 14 детей, 35 внуков и 52 правнука. Праправнуки не поддаются подсчёту. Я говорил, а сам не верил, что дед «отходит», как написала соседка.

– Столько детей! – удивилась жена.

– Да, и это те, которые выжили. Раньше ведь как было, многие умирали в младенчестве, не дожив до года. И эти дети только от моей бабушки.

– Что значит – от твоей, а что, есть ещё и другая бабушка? Расскажи что-нибудь о нём. Я же деда совсем не знала, он для меня был немощным, безногим старичком, вечно сидящим на кровати, а ведь за ним целая жизнь... события, люди, да просто история. Уйдет он, уйдет его мир.

– Я тебе никогда не говорил, – мне вдруг захотелось закурить, хотя за рулём, да ещё ночью, я себе такого не позволял. – У нас в семье это была закрытая тема. Но теперь, когда нет бабушки, и скоро не станет деда, я могу рассказать. До войны деревня была большая, мужиков много, но дед на их фоне выделялся. Мало того, что был самый грамотный – ветеринар, так ещё и самый видный. Гармонист – первый парень на деревне. Добавь сюда косую сажень в плечах, буйный чуб и яркое чувство юмора. От девок отбоя не было.

– Представляю, как твоей бабушке трудно жилось, – жена примерила ситуацию на себя.

– И в деревне ведь ничего не скроешь. Да он особо и не скрывал свою вторую семью.

– Что значит вторую?! И бабушка терпела? Ну, вы и сволочи, мужики.

Возмущение жены было настолько сильным, что она отвернулась от меня и стала смотреть в окно. За стеклом было темно, мы проезжали какую-то деревушку, по улице не было ни одного фонаря. Темень, скука... всё, как и семьдесят лет назад. Ну вот, что делать в такой деревне? Только любить. Я так и сказал Ольге.

– Вот дед и любил. Многих, наверное, любил, но дети были только в двух семьях. Бывало, не придёт он с работы, а они уже знали, где его искать. Анька была старше и отчаяннее. Мать рассказывала. Пойдут они к дому Дуськи – её Дуськой звали – смотрят в окно, а там шторкой занавешено, но маленький уголок свободен. Так вот, в этот уголок видно, как отец сидит на полу и играет с детьми – мальчиком и девочкой. И такая злость их заберёт, что Анька однажды не выдержала и засветила каменюкой в окно. Звон! Крик! А они с Маруськой – сестра помладше – бегом в ближайший овраг, в бурьян кубарем. Лежат, затаились, трясутся. Отец выйдет на крыльцо и кричит: «Анька, Маруська, выходите, я знаю, что это вы!» Но никогда не ругал их за это. А потом началась война. Всех мужиков призвали, а деду дали бронь, как единственному специалисту на весь район. Представляешь, что чувствовала бабушка? Всех забрали, только он один живёт в свое удовольствие – на две семьи. И она не выдержала, пошла и заявила, чтобы его забрали на войну. Нечего такому здоровому мужику отлынивать от фронта. И его забрали.

Ольга смотрела в темноту за окном, я видел, по лицу текли слезы.

– Ты чего? – не выдержал я. – Чего так разволновалась? Это было в другой жизни и не с тобой.

– Бабку твою жалко...сильная женщина. Столько лет терпела, а тут не выдержала. Да не доставайся ты никому! И он тоже... ведь вернулся к ней после войны. Наверное, все-таки любил. Мог и в другую семью уйти...или, вообще, не вернуться. Так многие делали – пропадали без вести. Находили новые семьи, в старые не возвращались. – Она все ещё смотрела в окно, но уже начала успокаиваться.

И тут я вспомнил. Как-то в горячке ссоры бабушка в сердцах сказала: «И зачем вернулся? Один раз отрыдала бы и все». Только теперь я понял её слова.

– Дальше-то, что было? – Ольга опять развернулась ко

мне. Ехать было ещё далеко, чтобы не заснуть за рулём, надо разговаривать. И я стал вспоминать обрывками, что рассказывала мне мама про эту семейную историю.

– Дальше? Бронь с деда сняли, забрали в армию... Сколько-то дней он был на станции, что в 18-ти километрах от деревни. Бабушка ходила туда к нему пешком, носила еду. Потом он воевал... она с детьми выживала. Детей было четверо, это те, что родились до войны. Вторая семья жила буквально на соседней улице, на другом краю деревни и тоже пытались выжить. Там было двое детей, ещё маленькие. И вот, как-то бабушка заболела и лежала на печи. Раньше все хвори выгоняли баней и теплом. Лежит, охает, тут является соседка, пришла проведать и принесла новости.

– Слышь, говорит, Матрёна, а Дуська-то с малыми детьми – бедствует. С голоду дети-то пухнут. И расписывает бабушке бедственное положение соперницы. Бабушка молчала, крепилась, крепилась, а потом кричит: «Маруська! Возьми в погреб ведро картошки....отнеси этим-то...» Она их даже никогда по имени не называла. А Маруська, как бы и не слышит. Тут бабушка осерчала, а она могла и матом разговаривать, резкая была, да, как закричит: «Глухая что ль, а ну, неси картошку этим супостатам!». Представляешь, сами голодные, а соперницу пожалела. Не её, конечно, а детей его.

Жена уже не смотрела в окно, сидела, замерев, внимательно слушала.

– А потом что? – только и спросила.

– А ничего. Так и жили по разную сторону деревни. Каждый своей жизнью. Ждали конца войны и мужа. Одна ждала законного, другая – любимого. Но уже в самом конце войны, та вторая семья уехала из деревни. Погрузили узлы на подводу и уехали. Бабушка не видела, это опять соседка пришла, рассказала. Наверное, ей какое-то время стало легче жить, но когда дед не вернулся ни в мае, ни в сентябре – он в это время в госпитале лежал – бабушка решила, что он выбрал

вторую семью. Не знаю, как она это пережила..

– Думаю, для женщины это страшный удар. Лучше бы убили, – тихо сказала Ольга.

– Не знаю. Про это никто не говорил в нашей семье. А бабушка надеялась, даже ходила к гадалке. Та ей сказала: «Жди. Он на пороге». И ночью стук в окно. Пришёл! Не обманула гадалка. Я замолчал, вспоминая, как бабушка с особым чувством рассказывала именно этот эпизод из своей жизни. Наверное, чувство победы над соперницей радовало. Вернулся! К ней!

– А дальше! Что было дальше? – жена с таким интересом слушала эту историю, как – будто смотрела кино.

– Ну, что дальше? Стали жить – поживать и детей наживать. И нажили ещё 10 человек. Дед с войны, хоть и пришел инвалидом, но сила мужская в нем осталась. Уже совсем старым, телом старым, но не душой, он просил жену: «Ну, Мотя, ну, покажи сисечку...». Представляешь, сидит такой старенький дед, одна нога свешивается с кровати, рядом стоит ведро для ночных нужд, но он всё ещё мужчина. И всю жизнь от своей Матрёны ни на шаг не отходил. Наверное, в благодарность, что выходила его после тяжёлого ранения. А ведь он, и правда, не хотел возвращаться... зачем в семье калека. Он привык быть сильным, а тут выходило, что он ещё одним нахлебником сядет на шею жены.

За окном уже светало, ехать оставалось чуть больше часа. Когда мы вошли в комнату, дед не выглядел «отходящим». Сидел на кровати в чистой рубашке по случаю ожидания гостей на его похороны и улыбался.

– Привет, внучок, ты будешь первым, кто сильнее всех огорчился моей кончиной. Проходи, обними деда – сказал он, протянув мне навстречу руки.





Александра МИХАЙЛОВА

Из книги «Доброе дело»

Избранные рассказы

Доброе дело

На окраине одного тихого городка есть обычная русская улица, которая пестрит одноэтажными домиками разных форм и цветов. Самым красивым здесь каждый назвал бы добротный деревянный дом. Зелёный, с тремя передними окнами в резных, нарядных наличниках. Что тебе пасхальная писанка!

В палисаднике у этого дома по-царски раскинула свои ветви высокая черёмуха. А рядом распушились кусты смородины, спрятав за собой деревянную скамейку.

Здесь уже с полчаса сидела шестилетняя девочка. С виду простая милая девочка. Худенькая, сероглазая, с двумя косичками, похожими на спелые колоски. Она, что-то напевая и время от времени поглядывая вдаль, плела веноч из ярких, солнечных одуванчиков. Звали эту затейницу Люба. А сидела здесь Люба неспроста: она ждала бабушку.

Баба Маша ещё с утра понесла на базар цветы, которые выращивала для продажи. Когда торговля у неё шла удачно,

бабушка обязательно покупала домашним гостинцы: конфеты, мороженое, печенье, а то и арбуз приносила. Но не только получить подарки не терпелось Любе: она уже соскучилась по бабе Маше. Так захотелось послушать какую-нибудь её историю или сказку. Между делом старушка часто пела молитвы, иногда и песни затягивала, а попросит внучка – сказку начинала. И про Михайло Потапыча, и про Лису Патрикеевну, и про славного богатыря Илью Муромца, и про Василису Прекрасную – каких только интересных историй не запомнила за свои семьдесят лет добрая Любина бабушка!

Нетерпеливая и подвижная, девочка совсем устала ждать. Она уж и песни все перебрала, и веноч примерила... В который раз посмотрела непоседа на дорогу. Наконец-то! Вдалеке завиднелся знакомый синий платок, и Люба вприпрыжку побежала навстречу долгожданной сказочнице. Бабушка, весело улыбнувшись, помахала внучке рукой. Наверно, она всё продала и купила что-то хорошее.

– Миленькая моя, что я тебе принесла! Уж какой сюрприз тебе принесла! – приговаривала бабушка по пути.

Дома она бережно достала из сумки какой-то свёрток. Интересно, что же там? Может быть, игрушка?

Оказалось, это летнее платье, красное, с рукавами-крылышками и белыми кружевами. По нему волнами бегут переливы света – оно из особой ткани, атлас называется. Любочка замерла от восторга: она даже во сне не видела такой красоты, а уж носить и вовсе не мечтала. Потому что семья жила небогато, и у девочки вообще редко появлялись обновки.

– Какое красивое, как у принцессы! Спасибо, бабушка, спасибо! – тараторила девочка. – Мама, посмотри, что мне баба Маша купила.

– Да чего ты трещишь и скачешь, вертушка! Примерь лучше, – остановила бабушка.

Сияя улыбкой, девочка надела платье и неспешно покружилась перед зеркалом. Наряд – просто глаз не отвести!

Бабушка и мама принялись рассматривать со всех сторон: нет ли каких изъянов, хорошо ли сидит. Но платье пришлось как раз впору, будто для Любы его и шили.

– Богатый наряд. Прямо пасхальный, – умилилась баба Маша. – Будешь по праздникам в церковь в нём ходить. Вот и Троица скоро...

Через пару дней маленькая модница увидела, что мама с бабушкой складывают в деревянный ящик старые детские вещи её взрослых братьев – Толи-студента и Валеры-солдата. Оказалось, это посылка в другой город для мальчика и девочки – ровесников Любы. У них умерла мама, а папа сидит в тюрьме. Любина мама, Анна Николаевна, сказала, что они бедные сиротки, и заплакала.

– Внученька, я вот что подумала, – вдруг заговорила бабушка, – может, мы твое новое платьице, ненадёванное, пошлём той девочке?

Люба так и вздрогнула. Нет, только не это, прекрасное, ненаглядное, любое другое, только не это, – чуть не вырвалось у неё.

– Ведь ей никто такого не подарит, – рассуждала между тем баба Маша. – А будет у девочки это платье, нарядится она и пойдет к папе повидаться. Папа на неё порадуется, и легче ему будет в неволе. Помочь тем, кто в беде да в нужде, – это доброе дело. Господь велел нам творить добрые дела. Неустанно, постоянно и без счёту...

И тут Люба вдруг представила себе бедных маленьких детей, сестренку с братиком. Вот стоят они, грустные такие, держат друг друга за ручку. Совсем одни. Ни мамы у них, ни папы, ни бабушки, ни взрослых братьев. Очень страшно это – жить одним. Особенно когда темно. Девочке стало так жалко ребятешек, что захотелось сделать для них что-нибудь хорошее. Конечно, красивое платье будет самым лучшим подарком. И, пересилив себя, Люба прошептала:

– Хорошо, отдайте.

А сама ушла на улицу, чтобы больше не видеть любимого наряда, в котором так и не успела пощеголять.

«Теперь я не смогу быть красивой на праздник, – думала она. – Может, не надо было отдавать?.. Да нет, бабушка сказала, что хорошо это – помочь тем, у кого горе. Я уж как-нибудь обойдусь своей одеждой. Зато сколько радости будет у сиротки с папой!».

Рассудив так, Люба даже сама повеселела. Стало так светло и хорошо. Чудо как хорошо, будто розовый цветок внутри неё распустился. Захотелось петь и прыгать, кружиться и снова петь. Знать, не даром дело помощи добрым называют!

В кругу птичек

Воскресным летним утром Любу разбудил весёлый перезвон птичьих голосов. «Что-то очень уж радостно поют они сегодня», – шевельнулось в мыслях. В соседском дворе с чего-то разлился-затявкал щенок, а потом вскрикнула кошка и пробарабанила по железному отливу у дома. Люба совсем было собралась заснуть, но подошла мама и велела вставать, чтобы идти в церковь.

На улице чудная погода! Чистым голубым платком покрывает землю небо, сияет жёлтое солнце, лучится свежестью яркая травка. Любе ещё хочется спать, но радость пересиливает. Ведь сегодня большой праздник – Троица...

В этот день на старинную Покровскую церковь можно было залюбоваться. Белая, в соседстве высоких берёз и клёна. В кольце выложенной, будто мозаика, дорожки из цветов – для крестного хода. Любина бабушка не удержалась от сравнения: «Как невеста!». И внутри храм украшен по-особенному. У царских врат² стоят милые молодые берёзки, старинная икона на аналое³ обвита венком из нежных лилий. Пол усыпан чуть подсохшей душистой травой. Кругом все – зелёное. Даже

одежда батюшек, в которой на солнце задорно поблёскивают золотистые нити.

Весь приход дышал торжеством. Священники вели службу бодро, на подъёме. Голоса певчих в хоре, переплетаясь, вили дивные мелодии. До того красиво, что душа просилась петь с ними. Особенно у Любочки, которая больше всего на свете любила петь. И вдруг всем прихожанам разрешили излить свою радость в молитве. К народу вышел дьякон⁴ и дал знак, взмахнув рукой. Множество людей из всех уголков храма разом отозвалось: «Верую...». А Люба слов не знала, так, вела одну мелодию за народом. И стыдно, и обидно. «Надо обязательно выучить эту молитву», – решила девочка.

Под конец обедни священники повели народ крестным ходом по цветочной дорожке вокруг церкви. С крестом, иконами, хоругвями⁵. С молитвой. Старый батюшка отец Аким щедро кропил всех святой водой, приговаривая: «С праздником!». Летели холодные капли в толпу. А народ-то смеялся в ответ, радуясь Божьей росе. «Благодать какая!» – то и дело восклицала Любина бабушка.

Люди не спешили расходиться по домам даже после службы – кто беседовал с батюшкой, кто со знакомыми «видался». Люба с другими детьми троицких цветочков на память набирала. Каждое лицо светилось праздничной радостью. Никого не смущало, что с севера накатывали синие тучи. Бабушка давно говорила Любе, что на Троицу всегда идет дождь: Боженка с неба тоже покропит святой водой.

По пути домой на остановке мама купила проголодавшейся Любе сладкую булочку. Пока ждали автобуса, сюда же подроспела знакомая, которая тоже шла из церкви. Мама и баба Маша занялись разговором, а Люба присела на лавочку, чтобы поесть. Одновременно она наблюдала за снующими туда-сюда машинами, автобусами, велосипедами...

Вдруг около девочки появился воробей. Он был, как всегда, голоден и искал себе пищу. Но на асфальте не так легко

найти хоть какую-нибудь крошку. Люба отщипнула маленький кусочек от своей булки и дала воробышке, который очень обрадовался, даже чирикнул. Завидев угощение, подлетел ещё один, ему девочка тоже уделила немного.

Любу очень удивило, почему птицы здесь подлетают к ней так близко. В саду они уже давно упорхнули бы. Наверно, в центре города много народа, и птицы просто привыкли к людям, – догадалась девочка.

Постепенно вокруг неё собралась целая стая воробьев, были даже голуби. Воробьи беспокойно вертели головами во все стороны и чирикали наперебой. Голуби степенно прохаживались, будто невзначай поглядывая, не упадёт ли поблизости кусочек. Люба щедро оделяла всех крошками, приговаривая: «Ах, вы мои хорошие птички! Кушайте, кушайте». Птицы подхватывали угощение и отлетали, чтобы спокойно его съесть. Только два воробья не поделили один кусочек и так смешно тянули его каждый к себе. Наконец, эта частичка булки разделилась пополам на каждый клюв.

Любе было очень весело, да и все люди, стоявшие на остановке, с интересом смотрели на это пиршество. Мальчик лет пяти даже попросил папу: «Давай купим булку. Я тоже хочу покормить птичек». Но тут как нарочно завиднелся нужный всем автобус. Так что папа пообещал сыну: «Воробьи теперь наелись. Мы завтра в магазин вместе пойдём и дадим им пшена. Хочешь – сделаем кормушку и зимой будем насыпать туда семечки. Ведь у птиц домов нет, запасов они тоже не делают. В холода нужно им помогать». «Да, – согласился мальчик, – завтра мы вернемся, а то вдруг эта девочка больше не придет и никто их не накормит». Уже выглянув из окна автобуса, малыш улыбнулся и помахал воробьям: «До свиданья, птички, до завтра!».

Люба тем временем, устроившись на заднем сиденье, доедала полбулки – все, что осталось ей самой. Автобус задорно подпрыгивал, мчась по широкой дороге. Видно, даже он развеселился.

Как рисуют чистоту

Утро ласково встретило Любочку с мамой алой улыбкой зари. Они встали спозаранку, чтобы по прохладце добраться на вокзал. К поезду, который домчит путешественниц до соседнего городка, где живут их родственники.

Первый автобус быстро доставил пассажиров на площадь, откуда рукой подать до вокзала.

Люба бодро шагала за мамой. В руках девочка комкала билетик, который только что вручила ей тётенька-кондуктор. Но скоро непоседе надоело держать мятую бумажку. Положить её некуда – карманов нет. Так что Люба бросила её прямо под ноги на асфальт.

– Зачем ты бросила билетик? Здесь нельзя сорить! – строго сказала мама.

– Почему нельзя? – не поняла дочка.

– Взгляни, как здесь чисто, а ты нарушаешь порядок, – объяснила мама.

Люба посмотрела вокруг: перед зданием вокзала стройными струйками перебирает фонтан, ровный газон зеленеет сочной травой, в ряд вытянулись скамейки. И – ни одной крошки на асфальте. Только скомканный билетик здесь не к месту. Мелочь – а разрушает всё впечатление от красоты городской улицы. Любе стало стыдно, но она всё-таки начала оправдываться:

– Ведь билетик совсем маленький, его почти не видно.

– Как же, – покачала головой мама, – посмотрит кто-нибудь – бумажка лежит, значит, можно и ещё одну сюда бросить. Потом ещё и ещё. Так и получится, что соберётся целая гора. У человека тоже наподобие бывает: сказал слово недоброе, поступил плохо – вот и накопилось грехов. Как мусора в том углу за скамейками.

Люба повернулась, куда показала мама. В траве белели бумажки, бутылки и пакеты. Ветер трепал целлофан, и девоч-

ке показалось, что прозрачные мешки махали ей своими уголками. Да ещё прыскали шуршащим смехом: что, провинилась?

– Как это некрасиво! Смотреть не хочется, – согласилась девочка. – Только почему же в той стороне грязно, а здесь чисто?

– Так это дворника заслуга. Видишь, вон он метлою машет, – объяснила мама. – Каждый день он подметает улицы, чтобы было приятно ходить по ним и смотреть вокруг. Бедняга, наверно, очень расстроился, что такая маленькая девочка не ценит его труд. Как и те, кто набросал здесь всякий хлам. Ведь по городским правилам все воспитанные жители должны соблюдать чистоту. Есть такая пословица: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

– Хорошо сказано, – как папа, ответила Люба.

А ветер уже играл с её билетиком, как с мячом. Девочка кинулась за ним вдогонку. Схватила и вопросительно оглянулась по сторонам: куда бы его положить?

– Брось в урну – там мусору самое место, – указала мама на желтый бак с ножками и взяла дочку за руку.

Уже подходя к вокзалу, Люба обернулась. Издалека дворник показался ей удивительно похожим на художника: у него в руках большая кисточка, которой он рисует чистоту.

Окрошка

Однажды весенним вечером Люба вышла на огород помогать родителям. Уж больно захотелось быть с ними вместе и заодно. Папа копал грядки, мама сажала помидоры, а девочка иногда подавала ей воду для полива. Между делом непоседа находила себе и другое занятие. Наблюдала за бодрыми муравьями и букашками, которые радовались тёплому дню. Ещё Люба увидела красивого жука в блестящем зелёном панцире. Жук, важно переваливаясь, по пути заполз на щеп-

ку. И тут же упал с неё прямо на спину. Чтобы перевернуться, толстяк усиленно перебирал лапками. Только ничего у него не получалось. Приткая Люба долго смеялась над неуклюжим насекомым. Но потом ей стало жалко увальня, и она помогла ему встать на лапки...

– Какой красавчик, – подивилась девочка. – Посажу-ка я его в спичную коробку, пусть там живёт.

– Не томи ты жучка, – отозвалась мама, расслышав дочкино бормотание. – Отпусти, у него, может, детки есть...

– Я об этом не подумала, – растерянно почесала голову Люба.

– А надо было рассудить, что к чему, прежде чем решаться питомца брать. Лучше принеси лейку.

Вдруг во дворе жалобно вскрикнула калитка: так она всегда давала знать, что гости пришли.

– Любочка, сбегай, посмотри, кто там, – попросила мама. – Да заодно напомни бабушке, что ужин пора готовить.

Во дворе Люба увидела грязного, обросшего соседа. Это был ещё молодой мужчина, но выглядел он больным. Отёкшее лицо его выдавало в нём человека, которого обыкновенно называют пьющим. Дядя Витя – так его звали – и правда, не расставался с бутылкой спиртного. У него не было семьи, он не работал, а в доме всей мебели только стол, несколько калек-табуреток да старый диван. Так со дня на день, часто голодая, дядя Витя и перебивался.

– Здравствуйте! – кивнула девочка.

– Привет! Мама или бабушка дома? – прохрипел сосед.

– Заходите, сейчас я бабу Машу позову, – на бегу крикнула Люба.

Дядя Витя попросил у доброй Любиной бабушки что-нибудь поесть. Старушка пообещала дать картошки с окрошкой и попросила соседа подождать во дворе.

Приближалась знойная пора. Как только солнышко стало припекать, бабушка приготовила квас – настоящий спа-

сительный напиток от жары. На него да на летний суп с квасом – окрошку – бабушка была большая мастерица.

Люба заглянула на кухню. Бабушка проворно толкла зелёный лук – это чтобы он сверху в окрошке не плавал.

– О, ветерок прилетел, – улыбнулась баба Маша. – Ну-ка, сделай милость, помоги мне. Принеси сюда две большие красные чашки.

Между тем привычные к работе руки мелькали над столом без передышки: старушка тёрла редис, резала яйца, огурцы. Всё это было выложено в одну из принесённых внучкой мисок и залито квасом.

– А Витьке и без редиски сойдёт, её и нам-то мало досталось, побольше лука да огурчика. Яйца вон с той недели лежат – ему положу, – приговаривала бабушка. А сама переваливала овощи с доски во вторую красную миску, только обколотую: снизу чернела дырочка с копейку.

«Скорей бы картошка сварилась», – думала Люба, заглянув в миску с удавшейся на славу окрошкой.

Дядя Витя, ожидая ужина, развалился на лавочке во дворе и нежился под тёплыми лучами солнца. Старушка вынесла ему еду и сказала, чтобы шёл домой. Довольный сосед поблагодарил хозяйку и потихоньку побрёл к калитке, боясь расплескать это необыкновенное для него лакомство.

Вскоре и Любина семья собралась за столом – пробовать летний суп.

– Ох, и вкусна у тебя, тёща, окрошка! – похвалил папа.

«Только редиски и правда так мало, что её даже не видно», – подумала Люба.

Но редиски не то что мало – её не было вообще. Это «открытие» бабушка сделала, когда начала мыть посуду. Она подозвала внучку и по секрету рассказала:

– Любаша, а чашки-то я перепутала! Вот она, обколотая. Мы съели окрошку, которую я для дяди Вити приготовила. Ему, значит, досталась наша, с редиской да свежими яйцами.

Девочка залилась смехом. Да таким задорным и громким, что звуки высыпались в открытое окно прямо на улицу. Проходим даже становилось интересно: отчего же можно так хохотать.

– Вот-вот. Внучке смех, а бабушке грех, – покачала головой баба Маша. – К доброму делу жадность примешала. А надо было делать для всех одинаково! Урок мне на старости лет! Но, с другой стороны, и нам Господь усладил еду: Саша никак не нахвалит окрошку.





Маргарита АЛЕКСЕНКО

Я отключила телефон...

Стихи

В этом дело

Задуматься о цели бытия,
в котором, как песчинки, ты да я,
и снова, вдруг, отвлечься на простое.
Пока мы живы, небо голубое
старательно несёт свои края.

Мир прав, хотя и прав без всяких прав,
дремотой неостывших с ночи трав,
заезженную виниловой пластинкой,
неправильно сложившейся картинкой,
мгновением, что мчит на всех парах.

А ты в прозрачных снах увидишь цвет;
случайно не услышишь слова «нет»,
молчание ответом полагая;

обрадуешься первому трамваю
в колёсном перестуке кастаньет...

И, кажется, не жить без глупых фраз,
ошибок, совершённых сотни раз,
удачи, что дала остаться целым.
Мир всё ещё прекрасен – в этом дело.
Никто не выдал и никто не спас.

Я отключила телефон...

Я отключила телефон и жду, когда ко мне
через отцепленный вагон
пройдёт сигнал извне.
Когда в просветах между стен появится окно.
Как будто нет на свете тем
других уже давно.
Как будто, по лесу идя, найти возможно клад,
в пустыне Гоби – шум дождя,
а в море – баобаб.
Но снова те же фаберже – что в профиль,
что в анфас:
я отключаю телефон
уже в который раз.

И жду, когда ты позвонишь,
и скажешь мне, что я...

... Я отключаю. Спит Париж.
И – вертится земля.

Чайную ложечку приготовь...

Чайную ложечку приготовь...
снега не будет ещё три дня.
Сколько же было ненужных слов.
Как хорошо, что не от меня.

Скоро вернётся к нам новый год,
пробуя пальчиком миражи.
Под батареей свернулся кот.
Он собирается долго жить.

Помнишь, как в детстве? Звезда в ночи
смотрит на нас и на медвежат.
Свет на подушке. И нет причин
в тысячный раз новый снег не ждать.

* * *

А в окошке даль так белым-бела,
и как будто нет предо мной стекла.
Невредимо море,
и ветры вскоре
пропоют о том, что прошла зима.
Запорошен воздух ночным дождём,
нарисован солнцеворот, и в нём
отворятся двери,
и в самом деле
расколдуют город, где мы живём.

А в соседнем Макдональдсе продают мороженое.
Если съесть его много, то будет под кожей
много таких, ну ты знаешь, мурашек,
но зато на душе – много очень хорошего.

Reality

... кнопка будильника тоже тебя не любит.
Так что давай, не сетуй на жизнь, не сетуй.
Ну, нет того, кто утешит и приголубит, –
да и зачем же, они ведь вредны, конфеты?
Изморось кроет пейзаж и киселит стёкла.
Что для вселенной твои... сколько лет? – мелочь.
Дочь у сестры подросла, у друзей – промокла.
А у тебя классный сын... Ну, а что делать...
Ну и подумаешь, снова в стране кризис.
Сколько их было, а мы всё одни и те же.
Но ведь зарплата ещё не ушла в минус,
хоть и являет себя не в пример реже.
Скоро весна, не заметишь, – а там лето.
Яблоки, речка, и рядом песок пляжа...
Вредная вещь, – говоришь ты себе – конфеты.
И временами смеёшься, поверив даже.

В стиле vintage

Мы в новом веке, люди-человеки...
Дождями смыт бывшего след и цвет.
Сегодняшние улицы вовеки
не вспомнят скрипа конок и карет,
и в доме – тёплый пол и Интернет.

А мне, мой дорогой, что в лоб, что по́ лбу.
Отжата кисть, заточен карандаш.
Предпочитаю чистить к пиву воблу,
а не креветок. Знаю, что «винтаж» –
не мольно-нафталинный трикотаж,

и продолжаю слушать группу «Абба»,
люблю друзей, волшебную луну,
и остаюсь всё той же слабой бабой,
которая за мужем хоть в тюрьму,
хоть в воду, хоть в огонь, хоть на войну.

Без «экстэзи», хоть – каюсь, – с сигаретой,
с этюдником, хоть знаю «Фотошоп»,
я верю, что нужна на свете этом,
да – верю, что нужна, – и хорошо б
той веры не рассыпать порошок.

... и всё может быть

Посреди зимы, на краю межи,
меж пустынь, рождающих миражи,
в кровеносных руслах, связавших время,
что-то селишь там, у себя внутри,
говоришь теперь: «А теперь смотри»,
и на десять долгих веков немеешь.

За окном пурга, на душе метель,
и ответы есть, но они не те.
Ты вдыхаешь снег, заслонивший темень.
Но за тьмою – свет, где за вязью врат
белый конь и день ждут тебя назад;
и полощет небо беспечный март,
отсиняя солнцем и счастьем тени.

В километрах луж плавниками рыб
запускает льдинки весенний грипп.

Ты идёшь на звук, что бежит под кожей.
Если это пульс, то ты точно влип.
В переулках день до краёв разлит,
и всё может быть, или быть не может.





Александр ЖУРАВЛЁВ

Весёлый день – суббота

Стихи

* * *

Улица – как дом июльским летом,
Дом большой, в котором всюду – жизнь.
Реют в высоте, согреты светом,
Умиротворённые стрижи.

На закате – лёгкое дыханье,
Думать, замечать, идти легко.
Над асфальтом – ветра колыханье,
Воздуха парное молоко.

Жизнь подобна шахматной задаче:
Можно век решать – и не решить,
Ведь решение ничего не значит,
Может быть, а нужно просто жить,

Жить, не думая о злом на свете,
Мамами любясь и детьми.
Бегают, кричат, щебечут дети –
Связь между стрижами и людьми.

* * *

Ждёт приближения весны
Всё в ослепившей сини.
Дорожки менее чисты,
Чем травка рядом с ними.

Проснулась рыба под водой
И разминает голос,
Чтоб самка, полная икрой,
За жизнь её боролась.

Блестит земля, блестят на ней
Бензиновые пятна.
Дыханье воздуха свежей,
И даже мне приятно,

Что где-то в вечной синеве
О нас берут заботу –
Вновь заводит движенье дней
И птиц готовить к лёту.

* * *

Весёлый день – суббота,
Весёлый день – среда.
Ко мне припрётся кто-то
Без совести, стыда.
С бутылкою початой,
С похмелья – сам не свой...
А я ему: «Несчастный?
Так наливай, не стой!»

Весёлый понедельник,
Весёлый и четверг.

Давно не видно денег,
Не слышен детский смех.
Уже страдает... память,
Здоровье барахлит...
Но как же мне оставить
Стакан, какой налит?

Прошёл весёлый вторник,
И пятница прошла,
Объедками засорен
Весь пол и полстола.
В грязи и в клубах дыма,
Где глупость, мат и бред,
Проходит жизнь незримо –
А воскресенья нет.

* * *

Умер Харон, а душу его везти некому.
Лодка стоит в забвении, воды Стикса текут.
Вечно спокойная Смерть всполошилась и закумекала:
Как же ей выход найти, как поступить ей тут?

Души недавно умерших бесцельно бродили по берегу.
Жизни взмолилась Смерть, Жизнь улыбнулась: – Садись!
Сел он за вёсла, довольный, словно открыл Америку,
Харизматичный, подобно Колумбу и Берингу,
Столь же бессмертный, как смерть и как сама жизнь.

* * *

Я чувствую свою грибницу,
Когда иду вперёд.
Когда иду в свою гробницу,
То волочу и род.

Её как хочешь: хоть мицелий,
Хоть крылья – назови.
Поток рождений беспределен,
И в нём полно любви.

Когда в цепочку превращений
Мы встроимся сполна,
Узнаем: каждый атом ценен
И каждая волна.

Никто не пропадёт бесследно
И не минует связь.
Я здесь – прекрасно. И волшебю,
Что ты здесь родилась.





Игорь ГОЛУБЬ

«Воистину жизнь прекрасна...»

Стихи

* * *

Так происходит каждый год
И каждый день – утих к утру бы –
Играет ветряной фагот.
Гудят неосторожно трубы.

Простая музыка звучит,
И хоть не верю в чудеса я –
Готовит ветер новый хит,
В толпу печальную бросая,

Пока не подтолкнёт закат
Случайных слушателей к дому,
И снова ветер-музыкант
Звучит, звучит, подобно грому,

Но пусть ночной погаснет дом,
Не засыпаешь всё равно ты,
Пока за плачущим окном
Звучат пронзительные ноты.

* * *

Несёт вода в темпе вальса
Тревожный свой непокой.
Как часто я оставался
Один на один с рекой.

Под брюхом пустого пирса
Узоры вода плела,
И окунь на дне крутился,
И билась в траве плотва.

Уходишь с тоской отсюда,
Но мысли всегда легки,
Ты молча уносишь чудо
Из царства большой реки,

Оно не в богатстве Слова,
А в тихой игре лучей,
К реке ты вернёшься снова,
Как впавший в неё ручей.

Когда постучится старость
В скрипучую дверь клюкой,
Я просто опять останусь
Один на один с рекой.

* * *

Я ни к кому с советами не лез,
Ведь мудрость безусловная – не в каждом.
Но я смотрел вчера, как рубят лес,
И в кадре был, а вовсе не за кадром.

Я наблюдал, как быстро лес лысел,
Порой напоминая поле боя,

Пейзаж сдувался, становился сер
И наполнялся бесконечной болью.

Слова, как сыр на кончике ножа
Вертелись – патронтажи, вереницы,
А надо мной, пронзительно кружа,
Кричали ошарашенные птицы.

В стремлении прекрасное менять
Брал человек – но мира было мало.
А мне казалось, пилят здесь меня,
Но жалости к себе не возникало...

* * *

Продрогший берег терпелив,
Бетон – как туз в колоде,
Летит в него волной залив
И бешено колотит,

Жужжит летящая волна
Над ухом, словно овод,
И, кажется, меня она
Несёт в зелёный омут,

Туда, где нервно схватит рип,
Потащит до Косы и
Пусть будут жабры, как у рыб,
И плавники косые...

И пирс, и маленький маяк
До дрожи мной любимы,
Лети, лети, душа моя
В зелёные глубины!

* * *

Я спрашиваю себя часто:
А верно ли
Быть вырванным из пространства
И времени,

Вселенная, словно квартира,
Намолена,
Но я закрываюсь от мира
На молнию,

Так перетекала в унылость
Импрессия,
Но что-то внутри надломилось
И треснуло,

Уже не считаю до ста я.
По счётчику!
И жизнь всего лишь простая
Пощёчина,

Но всё же пусть даже пространство
Воинственно,
Воистину жизнь прекрасна,
Воистину!

* * *

От холода город колотит,
Он молча сползает в закат...
Я – лист в этой жёлтой колоде
Повсюду разбросанных карт.

Здесь осень, почти что допета,
Себя погружает в строку.

По венам пустого проспекта
Я кровью случайной теку –

В барокко далёких Италий,
В далёких Румыний ампир,
Но вся эта гамма деталей
Не вытащит плачущий мир

Из грустно-красивой палитры...
Ноябрь, седой интроверт,
Кладёт на бетонные плиты
Последний осенний конверт.

* * *

На сердце тихо отлегло
Тепло, что вмиг отнять у нас мог
Мой город, часто от него
Лишь насморк.

Без надоевших панихид
Мой город в забродившем пунше
Лежит нелепо, словно кит
На суше.

Но, сколько баек не травы
Про то, что нет с ним линий смежных,
Он в сердце, словно из травы –
Подснежник.

Стоит, обёрнутый в неон,
Гоняет шумно птичью стаю.
Я ощущаю, как в него
Врастаю...

* * *

Я прошлым вечером скорей
Спешил попасть домой с работы,
Но на брусчатку с фонарей
Пролилось море позолоты,

Скользила по дороге тень,
Мелькали в переулках лица,
И первый раз за целый день
Я захотел остановиться.

Как много пролетело дней,
Чтоб я открыл глаза пошире –
Ведь это золото ценней
Иных сокровищ в нашем мире.

Глотая слёзы ноября,
Шумела мокрая дорога.
Крещённый светом фонаря,
Я в первый раз увидел Бога.

* * *

Песка после ветра намыло,
Люблю я такие места –
Ловил здесь когда-то налима
У маленького моста,

А ты это место забыла,
Таких ещё будет пятьсот...
Морозная песня залива
Ложится на рыжий песок,

И кажется, сонное лето
Нескоро придёт и тайком,

И башня кирпичная где-то
За ветками – маяком,

И веток слепое движенье
Как в прошлом, лелеет вода,
Но наше в воде отраженье
Такое же, как и тогда.

* * *

Вновь улицы роскошно выстелены,
До одурения белы,
Шаги мои глухими выстрелами
Ложатся в стены и углы,

И новыми шагами ранена,
С пробоинами по бортам,
Заплачет площадь театральная
Которую февраль взболтал

До состояния коктейльного.
И только видно из-за крыш,
Как позади пытит котельная,
Балтийский пачкая Париж,

Зима белеет непокорная,
И ночью всё запорошит,
Какими только непогодами
Мой город не был перешит...

Иду, одет не по погоде я,
Сквозь смёрзшееся молоко,
А сверху белая мелодия
Звучит красиво и легко.



Андрей НОВИКОВ

Долгая дорога к дому поэтов

Очерк к 135-летию Николая Гумилева

Наверное, раз двести я проезжал на автомобиле по дороге Бежецк – Красный холм мимо поворота на Градницы, мимо знаменитого Дома поэтов, в котором когда-то жили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Сам – уроженец Бежецка, я каждый год раза по четыре навещал родственников в Молоковском районе, а дорога на Градницы как раз на этом пути.

Часто, опять же мимо этого поворота, ездил в Бежецк на базар за рыбой из Весьегонска, судак и караси здесь стоили в два раза дешевле, чем в Липецке, набирал целый армейский рюкзак. Особенно хороши были огромные волжские караси с темно-зеленой икрой. Вначале я даже подумал, что икра испорчена, но в родительской избе, в русской печи на чугунной сковородке темно-зеленая икра вдруг расцвела необыкновенным ярко – оранжевым цветком! Тут уж не до Дома поэтов! Но колхозного рынка в Бежецке больше нет, вместо него уже несколько лет супермаркет.

Всё это время откладывал посещение усадьбы Гумилёвых, внутренне искал причины, дескать, всегда успею, в следующий раз обязательно заеду. И автомобиль в очередной раз проезжал мимо неприметного поворота. Со стихами Гумилёва

я познакомился только во время учебы в Литинституте, тогда же, в перестройку, мне подарили недавно вышедший объемный сборник его стихотворений в синей обложке. Но говорили о нём всё ещё шёпотом. Его поэзия зацепила меня сразу необыкновенным поэтическим зрением и свежестью, особенно «имперские» его стихотворения:

*Всё, что нам снилось всегда и везде,
Наше желанье и страх,
Всё отражалось, как в чистой воде,
В этих спокойных очах.
В мышцах жила несказанная мощь,
Нега – в изгибе колен,
Был он прекрасен, как облако, – вождь
Золотоносных Микен.
...Манит прозрачность глубоких озёр,
Смотрит с укором заря.
Тягостен, тягостен этот позор –
Жить, потерявши царя!
(Воин Агамемнона)*

Но в 2013 году случилось так, что ездить по этой дороге уже было не к кому. Впору вспомнить пророческие слова Мишеля Монтеня, написанные точно про такую же ситуацию: «Человек – изумительно суетное, поистине непонятное и вечно колеблющееся существо».

В Дом поэтов я всё же попал, но только в 2018 году, когда в Бежецке краеведы организовали мой творческий вечер. Тогда и понял, что это может быть единственная возможность наконец-то посетить усадьбу Гумилёвых. Только пришлось уже ехать на автомобиле не несколько знакомых километров, а восемьсот восемьдесят от Липецка до Бежецка и ещё километров двенадцать до Градниц.

Дом поэтов встретил щемящей пустотой малонаселённого места, тишиной сырой осени. Возле уютного усадебно-

го деревянного дома с четырьмя мезонинами на все стороны света – храм святой Троицы XVIII века, как выяснилось, в нём венчались родители Николая Гумилева. Сейчас стоят одни краснокирпичные живописные руины, сохранились уникальные фрески. Но на входе в Дом поэтов теперь стоит аккуратный храм во имя святой благоверной княгини Анны Кашинской и Николая Чудотворца – небесных покровителей Анны Андреевны и Николая Степановича. Отдельно возвышается колоколенка. Строения новые, деревянные. Построили церковь и колокольню на средства меценатов. Признаться, на фоне исторического места смотрятся они чужеродно, есть какая-то кричащая современность этих построек из карандашно-ровных оранжевых евробрёвен с пластиковыми окнами, проглядывается диссонанс с тёмными стенами аккуратной старинной усадьбы. Построили меценаты – и на том большое спасибо, вложили миллионы рублей...

Дом поэтов уникален, в Тверской области это единственный случай переноса усадебного дома с одного села в другое. Усадьба ныне стала мемориальным музеем, посвящённым его знаменитым обитателям и владельцам. Дом сохранился, можно сказать, чудом. И чудо это оказалось исторически рукотворным. Его построили в конце XVIII века помещики Львовы в деревне Слепнёво Бежецкого уезда. К этому роду принадлежала мать поэта Николая Гумилёва Анна Ивановна. Дом в Слепнёве был её добрачным владением и некогда принадлежал предку офицеру-артиллеристу Льву Васильевичу Львову, участнику штурмов Очакова и Измаила. После революции семья Гумилёвых из усадебного дома в Слепнёве переехала в Бежецк. В городе было легче найти продукты и прожить.

В барском доме новая власть разместила школу, это и спасло усадьбу от разорения, сохранив её в первоизданном виде. Не пришлось даже делать перепланировку – большие комнаты идеально подошли под начальные классы. Каким же чудесным образом переместился усадебный дом из Слепнёва в

соседние Градницы? В Градницах сгорела школа, а в Слепнёве она была уже в ту пору очень малочисленна. По этой простой причине, в 1935 году здание гумилёвской усадьбы было разобрано и перевезено в Градницы. И тут знаменитому дому снова повезло, эту работу выполняли старые, опытные плотники. Дом после его сборки в Градницах практически не претерпел никаких изменений. Даже настил полов, кровельное железо и перила лестницы были сохранены. Не изменилась и внутренняя планировка – учителей в Градницах она вполне устраивала. Дом, несмотря на вынужденный переезд, сохранил в себе дух подлинности и ауру знаменитого семейства.

Более того, краеведы, музейные работники и литераторы уверены, что если бы усадьбу Гумилёвых не перенесли на новое место, она была бы разрушена. Ведь исчезла же полностью с лица земли вотчина Гумилёвых – деревня Слепнёво! В музее рассказали, что последняя жительница деревни – Надежда Ивановна Привалова умерла в 1986 году. В музее есть фотография этой старушки.

Теперь рассмотрим сам усадебный дом. Это только снаружи он кажется небольшим. На самом деле, внутренние помещения светлы и просторны, а лестница на второй этаж вписана органично и удобно. Дом двухэтажный, если считать вторым этажом крестообразный мезонин с четырьмя симметрично расположенными комнатами. Как и раньше, комната Ахматовой и Гумилёва, выходит окнами на север. В Градницах дом поставили так, как он стоял и в Слепнёве. О своей комнате Ахматова писала:

*...Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
И часто в окна комнаты моей
Влетают ветры северных морей...*

Слева была комната их сына Лёвы, справа – Анны Ивановны Гумилёвой, а напротив жила сестра Гумилёва – Алек-

сандра Степановна Сверчкова. На первом этаже размещались столовая, гостиная и комнаты Кузьминых-Караваевых, внучек Варвары Ивановны Львовой. Полы были покрашены, на праздники или перед гостями их натирали мастикой, чтобы они блестели. Печи в доме были покрыты кафелем или пёстрыми старинными изразцами. На зиму для сохранения тепла всегда вставлялись вторые рамы. По воспоминаниям очевидцев, жителей карельских деревень, которых в округе было множество, а Бежецкий район именовали Тверской Карелией, дом больше напоминал не барские хоромы, а большую старинную карельскую деревенскую избу. Такая же изба была у моего прадеда.

Через дорогу от дома рос фруктовый сад. Сама деревня Слепнёво располагалась западнее барской усадьбы. О Слепнёве Анна Андреевна вспоминала так (а гостили молодые супруги здесь каждое лето с 1911 до 1917): «Слепнёво для меня, как арка в архитектуре. ... Сначала маленькая, потом всё больше и больше и наконец – полная свобода. ... Слепнёво. Его великое значение в моей жизни. ... Слепнёво – русская речь – природа – люди. ...».

В автобиографии Ахматова вспоминает детали слепнёвского пейзажа: «... «воротца», хлеба, хлеба...». В то время землю берегли, всё, что могли, использовали под пашню. Много было и скота. Пашни огораживали. В каждой деревне при въезде и выезде ставились обязательно воротца, которые нередко заменяли просто выдвигающимися жердями. Они задерживали езду, создавали неудобство: надо было слезать, чтобы открывать их. И существовал обычай: заметив приближение барского экипажа, дети бросались к воротцам, открывали и закрывали их. За это им полагалась плата – конфеты.

Жители деревни и помещики были неразрывно связаны с соседними Градницами. Там располагалась построенная в 1794 году Троицкая церковь. И последний путь, что крестьян, что господ, лежал в Градницы – своего погоста в Слепнёве не было. Об этом есть строки Анны Андреевны:

*Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибежать –
Через речку и по горке...*

Около церкви фамильное кладбище Львовых. Поначалу стихи здесь не писались. Не сразу Анна Ахматова полюбила Слепнёво, она тяжело привыкала к местному патриархальному укладу жизни. Да и отношения со свекровью и золовкой были непростыми. Постепенно Ахматова привыкла к Слепнёву, сроднилась с ним, и стала называть тверскую землю своей второй родиной, любимой стороной. К тому же её в Слепнёве привлекло устное народное творчество. Она едва ли не первой ввела элементы просторечия, частушки, плачи, заклинания, причитания в обиход высокой поэзии.

Скучно в Слепнёве никому не было. Катались на лошадях, играли в цирк, создавали домашние спектакли, вечера со стихами. В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом. Анна Андреевна выступала как «женщина-змея», у неё была удивительная гибкость. Николай Степанович выступал в роли «директора цирка» в прадедушкином фраке и цилиндре, которые доставал из сундука на чердаке.

В 1989 году, к 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой, здесь открыли первую экспозицию в её честь – в залах мезонина. Но официальный статус музея Дому поэтов присвоили в 2008 году, когда он стал филиалом Тверского государственного объединённого музея в качестве музейно-литературного центра.

Биографы подсчитали, что Николай Степанович написал в Слепнёве около сорока стихотворений и несколько статей. Анна Андреевна, только в 1914 году в Слепнёве написала сразу сто пятьдесят стихотворений. Перед первой мировой в

Слепнёво было тридцать дворов, они в два порядка спускались по восточному склону холма от вершины к подножию, к реке Каменке, на которой стоял высокий деревянный мост, его не затапливало даже в половодье. Реки на севере Тверской области насквозь прозрачные с каменистым дном. Вот и Каменка. А дожди здесь пахнут грибами. Сохранилась фотография Анны Ахматовой на этом мосту. Как хотелось проститься со Слепнёвым и усадьбой поэтов именно на мосту через Каменку! Но моста давно уже нет, остался только незримый мост между нашими временами...



Владимир САМОРОДОВ



Человек со справкой

Рассказы

Грустная радость

Семён Владимирович смотрел сквозь железную решётку окна на облачный хоровод вокруг солнца в честь наступавшей весны. Ему этот день очень хотелось провести на улице, просто погулять, придумать дело для ходьбы, нагулять новые воспоминания и мечты. Но, в силу объективных причин, сегодня он не мог этого сделать. Мечтательные мысли ложились на его разум, как тёплое дыхание на холодное стекло, высвечивая недолгие рисунки-мечты. Ему представлялось, что он один из тех майских жуков, спасённых им из украденной у старшего брата спичечной коробочки, выскользнувший из неё, как камушек, вдруг зажужжав, волнисто полетел к небу. «Я бы мог сейчас улететь, – думал Семён Владимирович, – между железными прутьями на улицу, забыть про всё и лететь вслед за облаками, нарушая законы времени, наблюдать за своим детством, когда я был ещё ребёнком, играющим в песочнице под железным мухоморчиком, сажал сорванные одуванчики, делал бугорки и сердечки из сырого песка...».

– Обвинение разваливается на кусочки!!! Свидетель отказывается от показаний! – прервал полет мыслей Семёна Владимировича язвительный крик адвоката и напомнил ему о необходимости исполнять служебные обязанности мирового судьи Советского района.

– Свидетель пьян и не может отдавать себе отчёт! – заключал коренастый прокурор, – прошу отложить заседание до его вытрезвления и вызова повторно.

Семён Владимирович оторвал взор от окна судебного кабинета, посмотрев на стоящего с мутным взглядом свидетеля, который даже своим горильным запахом, исходящим изо рта, не мог испортить атмосферу и дух в помещении. Подсудимый, с поникшей грязной головой, измазанной зелёной, в изношенной куртке, надетой на рубаху, смиренно сидел рядом с адвокатом, редко говоря и слушая, безразлично вверив свою судьбу людям.

– Заседание переносится на две недели, все свободны, – заключил Семён Владимирович, снова пролистывая материал уголовного дела № 37/0.

«Эх, я ещё не провёл столько процессуальных действий, а сроки рассмотрения дела подходят к концу, надо выносить приговор, очень тяжёлое дело. И какой выносить приговор? Правильно говорит адвокат, что обвинение сыпется, никаких объективных доказательств виновности, свидетели и те ничего не могут толком подтвердить», – думал Семён Владимирович. Оправдывать тоже нельзя, не принято, да ему и разницы нет, вот же человек. Вглядывался в его тоненькое дело. В карточке было записано: «Разведён. Неоконченное филологическое высшее. В настоящее время злоупотребляет спиртными напитками. Неоднократно привлекался к административным взысканиям». В неудовлетворительной характеристике участкового сухо написано: «Не имеет крепких социальных связей, злоупотребляет алкоголем, с бывшей женой и ребенком не поддерживает отношений, имеет задолженность по алимен-

там». В общем, набор практически стандартный, за исключением зачем-то приобщённой адвокатом выцветшей школьной грамоты за участие в литературной жизни района. «Эххх... Что с ним делать, сроки уходят, надо готовить судебный акт, опять переписывать обвинительную часть, как я устал... Его вообще оправдывать надо», – при этой мысли Семён Владимирович закачал головой, быстро закрыл дело и постарался на время забыть о нём.

За дверь послышался разговор его секретаря по исполнению Тани и судебного пристава. «Классик у себя, можно заводить?» – спросил судебный пристав, имея в виду, можно ли заводить следующего для осуществления правосудия. Таня устало, но нежно ответила: «Сейчас спрошу», – направившись к кабинету судьи.

Семёна Владимировича многие называли в суде «классиком», никто не помнил, когда и кто придумал это прозвище, но все знали почему. Его статный вид и очки дореволюционного фасона относили людей, общавшихся с ним, к временам, когда жили люди, ставшие сейчас классиками литературы, музыки, живописи и т.д. Кроме того, Семён Владимирович единственный, кто в суде разбирался в классической музыке, зная многие увертюры, симфонии, вариации т.д. Со временем Семён Владимирович и сам привык к «классику», не в силах ничего поделать с этим названием, так как для этого необходимо было переменить себя, а значит – жизнь. Действительно, многие грустные и радостные минуты своей жизни он проводил с классической музыкой, звучание которой было лечебным и живительным для него, как он говорил, «нетелесного». В эти минуты ему казалось, что какая-то биологическая смерть сковывала его сидящее или лежащее тело, а душа, поднимаясь сквозь бетонные перекрытия верхних этажей, железную крышу, парила под звёздами, не отягощённая телесной формой, искусственными преградами, человеческими наградами и ненужными формальными обязательствами. Были только музыка и полёт.

– Заводите, нужно успеть до вечера, – автоматически ответил Семён Владимирович секретарю. Рабочий круговорот вновь начал умножать усталость в теле и мыслях. Заходящее солнце, любопытно устремившееся в окно, указало вафельной тенью решетки на очередного подсудимого, сидевшего на скамеечке.

Две недели прошли для Семёна Владимировича удовлетворительно, ничего плохого не произошло, на работе при общем совете его похвалили за успеваемость и разумность при ведении дел. Он возобновил курс привития лечебного эгоизма, который должен помочь против нервов, как и предписывал его психолог, называвший эту методику лучше любых таблеток от дум и тревог. Семён Владимирович жаловался ему, что таблетки, которые он пил раньше по рецепту, быстро улучшали самочувствие, но действовали очень коротко, примерно до полного растворения в желудке.

Сегодня, находясь у себя на работе, Семён Владимирович, прививая лечебный эгоизм, действовал без нужного эффекта. Опять вспоминал рекомендации психолога, который говорил, что при лечебном эгоизме строго противопоказана русская классика, которой он часто злоупотреблял.

Дело номер 37/0 не давало ему покоя. Он до настоящего времени не знал, какой приговор выносить: оправдательный или обвинительный. Различные мысли, как осы, облепляли его мозг и беспощадно жалили, прокусывая тонкую кожицу возвращенного эгоизма. В эти моменты он завидовал заключённым, которые после суда отправлялись на тихую отсидку, а он был приговорён к вечному суду, каждый день. Порой он обессиливал от этого, но судьбы людей опять заставляли его тревожно мыслить. Он уносил тяжёлые думы, как дорожные чемоданы, после работы домой. С мыслью о данном деле он, как с тенью, не расставался эти две недели, пытаясь убежать от неё. Подсудимый даже приснился ему однажды юношей с ров-

ной чёлочкой на лбу и пионерской выправкой, выразительно читающим наизусть поэму на уроке литературы.

– Семён Владимирович, у меня новость, – зайдя без стука, сказала улыбающаяся секретарь Таня, прервав его мысли. – По делу 37/0 подсудимый то ли угорел, то ли убился. В общем, позвонил прокурор, найти не могли, чтоб доставить в судебное заседание, через участкового узнали, информация точная. Можно дело прекращать.

Семён Владимирович молчал, владея телом, но не в силах сдержать внутреннее чувство смешанной радости и горести от простого прекращения неопределенного дела.

Рабочий день близился к концу, вечер вдруг обратил Семёна Владимировича к тихой грусти. Не у кого было спросить разрешения закурить, поэтому он долго не осмеливался поджигать табак. Он грустил, сидя у себя в кабинете, на время оставив анализ дел, приготовленных на завтра. Его рука потянулась крутить колёсико музыкального проигрывателя. Дежуривший судебный пристав, охраняя пустые коридоры суда, услышал еле доносящиеся плавные звуки вальса Шуберта.

Пианино

В тени старинного чёрного резного пианино стояла двухпудовая гиря, под которой не было пыли.

Владимир Иванович получал физическую радость от мышечной гимнастики, а душевную – от звучания пианино. Каждый раз, возвышая гирю над головой, он думал о достигнутых успехах в карьере, постоянной борьбе за жизнь, необходимости быть сильным и независимым. С фортепиано все было сложнее: музыка, исходящая от этого чёрного шкафа с педальками и большой выпуклой полкой впереди, уносила его в бестелесные субстанции, где он был безоружен, как ребёнок, и счастлив.

Когда-то родители привязывали его, маленького, к пианино. Он выучил несколько песен: «Полюшко-поле», «Кузнечик» и «На сопках Манчжурии»... Родители очень хотели, чтоб Володя научился играть на пианино, но, увы, печальный и несвязный звук от белых, чёрных клавиш глубоко врезался в сознание, таланта не случилось. Под вечерним тёплым абажуром отец наблюдал, как нехотя, опустив голову, сынок перебирает клавиши, даря пространству разрозненные звуки, и ровно выстриженная чёлочка постепенно прилипала к влажному от пота лбу.

– Ну, хорошо, Володя, возьми перекур, – вздыхая, говорил отец.

Через некоторое время он сам садился за инструмент, опускал лаковые туфли на педали, засучивал рукава белой рубахи, закрывал глаза и замирал на минуту, будто договариваясь на игру. Неожиданно вспышка музыки заливала всё вокруг, останавливая время. Силуэт играющего отца переносился из реальности, улетая вместе с пианино куда-то высоко, даря необъяснимую и загадочную мелодию счастья. Уставший Володя засыпал...

Перекур затянулся. За это время Владимир Иванович начал и бросил курить, сделал карьеру, женился, воспитал двух детей. Он больше не прикасался к инструменту, который теперь сторожил тишину родительской дачи. Бывая на концертах, он всегда замирал от музыки фортепиано, улетая под тёплый родительский абажур, представляя себе таким маленьким и беззащитным перед таинством судьбы. Пальцы его порой подёргивались во время прослушивания мелодий. Ему казалось, что он ещё юный, что это такая игра, что пианино живое, это член семьи, который отвечает музыкой, если с ним уметь разговаривать. И если с ним однажды договориться, то оно будет играть всегда, даже когда ты пускаешь на улице воздушного змея или едешь на велосипеде на речку, обгоняя родителей. И этой музыке не будет конца.

Неожиданно Владимир Иванович привёз чёрное резное пианино с подсвечниками с родительской дачи, установив себе в кабинет. Он разучился играть даже те детские мелодии и иногда вечером в тишине перебирал клавиши, рождая разные несвязные звуки, пытаясь повторить ту мелодию. Пожилой педагог Семён Львович часто приходил к Владимиру Ивановичу и уважительно сидел рядом, подсказывая, разъясняя азы игры на инструменте. После двухчасовых упражнений в неделю получал от ученика надбавку к маленькой, как он её называл, музыкальной пенсии. Бывало, что от Семёна Львовича исходил небольшой запах алкоголя, но Владимир Иванович прощал ему; Семён Львович, в свою очередь, прощал ему также многое в музыкальной учёбе.

Иногда он вежливо просил Владимира Ивановича не давить так сильно на педаль и не жать резко на клавиши. Но широкие плечи, расправленные над пианино, и властные руки отражались в чёрном лакированном дереве, пытаясь обладать инструментом. Часто Семён Львович вздрагивал от резкого звука пианино, а у его ученика начинали плакать потом седеющие бакенбарды. Владимир Иванович останавливался, подходил к шкафу, нащупывая на верхней полке свежий сухой платок. Открывался висящий в полный рост выглаженный генеральский мундир, пугающий Семёна Львовича образом пустого человека. В таких перерывах учитель закуривал и, непременно спотыкаясь о гирю, выходил на балкон сталинской квартиры смотреть монотонное кино городской жизни. Владимир Иванович в это время делал разминку рук, ног, спины и шеи.

– Я знал Вашего отца, – говорил Семён Львович, – это был интеллигентный человек, очень начитанный.

После этого они ненадолго делали тишину молчанием. Командирские часы, аккуратно поставленные на пианино, подводя двухчасовую встречу к концу, предлагали завершить уроки и расстаться. Они деликатно раскланивались до следу-

ющей встречи. Семён Львович, прихрамывая, говорил добрые слова об игре, что есть уже что-то, говорил, что всё будет хорошо, нужно время...

Владимир Иванович порой за обеденным столом перебирал воздух пальцами, как бы играя мелодию, закрывал глаза и тихонько качал головой.

Однажды Семён Львович не пришел и не взял трубку телефона. Соседка сказала, что у него был приступ, и его увезли дети к себе в Петербург, квартиру будут выставлять на продажу.

Спустя какое-то время Владимир Иванович нашёл молодого педагога, который согласился давать ему уроки. Его рекомендовали знакомые как очень талантливого музыканта, лауреата многочисленных конкурсов. Тот же пришёл и после первых сыгранных нот сказал, что пианино очень сильно расстроено, и играть на нём невозможно. Через день он приехал с мастером, который долго нажимал педали, простукивал клавиши, открывал и закрывал инструмент, а потом объявил, что пианино восстановлению не подлежит ввиду пребывания в течение длительного времени в расстроенном состоянии.

Вечером Владимир Иванович долго сидел за пианино, иногда нажимая на педаль и перебирая клавиши; свечи, вставленные в подсвечники, плавилась, считая время, безвозвратно отдавая прошлое. В какой-то момент его тень под светом угасающих свечей стала маленькой, напоминавшей того, юного Володю...

Случай в театре

Владимир Карпович половину жизни служил искусству, работая заведующим небольшой городской библиотекой, и, за неимением загруженности, упражнялся акварелью. Вторая половина для него была загадкой, так как ещё не про-

шла. Тем он и жил. Препровождая своё время соответственно общей философии жизни, он часто любил ходить в театр или прогуливаться по набережной. К музеям его также тянуло, но настолько редко, что эта тяжесть могла быть обоснованно отнесена к лёгкости.

– Ваш билет? Программку не желаете? – навязчиво спросили его при входе в театр.

Владимир Карпович, протянув пригласительный на «Весенний романс», в очередной раз поборол в себе ненужную мысль приобрести программку.

Расставшись со своим пальто, Владимир Карпович несколько раз кивнул проходящим мимо и остановился у зеркала. Поправляя бабочку, он говорил про себя: «Как же хорошо, что в театр можно совершенно обоснованно надеть бабочку и не вызывать недоумение у людей». Он любил бабочки и от этого чаще посещал театры. Бабочка – это праздник жизни, с ней чувствуется полет и солиднее обозначается голова. В своей жизни он хотел носить бабочки намного чаще, даже по будням, но общество всегда ограничивало его в этом, недоумённые физиономии, смотрившие на него порой, и озадаченные взгляды заставляли действовать и жить как все, соединив понятия «того, что хочется» с «тем, как нужно». Самым страшным в жизни Владимира Карповича было обдуманное стремление выделиться. Имея на это полное право – интеллектуальное, моральное и материальное, – он не имел на это сил. «Человек ничто против общества, общество – движитель порядка и бытия. Общество не соврёт и не обманет, ошибается индивид, а общество – никогда», – оправдывался Владимир Карпович. Угождая обществу, он за это ничего не получал в ответ. Мама всегда говорила ему быть ближе к людям и жить как все. Надо было учиться – он учился, надо было читать литературу – он читал, надо было работать...

В зале вспыхнула темнота, таинство театра открылось. В «Весеннем романсе» было очень много диалогов, мелких и

механических движений, просроченных умозаключений и прямой любви. Женщина, сидевшая рядом, уже третий раз подряд интересовалась, который час. Он бы и сам ушёл, если бы не... Ему сложно было однозначно ответить на этот вопрос.

Постановка, длившаяся два часа, совершенно выбила Владимира Карповича из сил. В конце зал поднялся и начал бурно аплодировать, не оставив свободы действий Владимиру Карповичу. Он, болезненно и отрешённо стоя, аплодировал, осматривая зал, вглядываясь в лица, пытаясь прочесть их жизни, стремления, слабости и желания. Вот, например, сейчас усы у мужчины ему навевали морскую тематику, и он заключал, что этот человек непременно капитан; другая, на которой была шляпка с вуалью, представлялась ему дворянской особой, скрывающейся от большевиков. Проникнуть в головы людей он мог только с помощью своих фантазий, к сожалению, примитивность которых часто была по его самолюбию. Но что сделать? Он устал конфликтовать с собой и в последние годы всегда мирился, оправдываясь, приговаривая, что конфликты крадут жизнь. Тем самым он обрубал последние уголки её принципов. Поэтому любые мысли округло проносились в его голове, не затормаживаясь, не раскрываясь, они уходили из его головы в первозданном виде.

Но вдруг Владимир Карпович стал заложником увиденного, которое потрясло его. Дело в том, что его взгляд приковал к себе чуть виднеющийся вдалеке сидящий мужчина. Почему этот некультурный человек, противопоставляющий себя обществу, спокойно сидит, когда весь зал стоя аплодирует?! Это безобразие! Опомнившись, Владимир Карпович успокоил себя, утвердившись в мысли, что это больной человек, ему сложно стоять, и в этом нет ничего странного. И вообще, почему он придаёт этому такое значение? Но этот человек спокойно встал и уверенно направился к выходу из зала, он, наоборот, был здоров.

«Какой негодяй!», – Владимир Карпович чуть ли не

произнёс эту фразу вслух. Теряя рассудок, он направился догонять этого уже мистического человека, растворившегося в толпах людей. Тщетно Владимир Карпович расталкивал людей, которые дарили ему свои возмущённые и надменные взгляды, в надежде отыскать непослушного незнакомца. Эта личность его так поразила, что мысли стали меняться очень быстро: от презрительных, бестактных и недоумевающих до проблесков восхищения, надежды и правильности совершенного поступка. Он боялся признаться себе в чём-то, убегал и долго пытался отыскать этого человека, который всего-навсего просто сидел, когда все стояли. Последний, которого Владимир Карпович догнал уже близ парка, в надежде узнать секрет сидения, сообщил, что отказывается называть ему своё имя и фамилию и что ни в каком театре он не был.

Человек со справкой

Владимир Геометриевич удивлялся многим вещам в своей жизни, четвертак которой уже был отыгран, а удивлялся он потому, что искал всему рациональное объяснение. Всю жизнь он положил вести дневники динамики жизненных стремлений и не так давно окончательно распланировал её на шестьдесят лет вперёд. За это время он должен был достигнуть немалых успехов, но уже явно отставал от плана. Он работал на двух работах, и везде – головой. Ко второй работе, которой он уделял два дня в неделю, а именно преподаванию в университете, он относился не всегда серьёзно, но любил её и считал главной.

«Опять надо взять какую-то справку в медпункте», – думал Владимир Геометриевич, направляясь напрямиком к старой белой двери, за которой лечат людей.

– Здравствуйте, здарсьте, Владимир Геометриевич, – раздавались со всех сторон приветливые голоса студентов, торопящихся от учения к учению. Всех он помнил, желал им добра и ставил всем зачёты, так как не хотел никого обижать.

Хотя получалось, что обижались все, кто готовился. Проводя лекции, он запинался, ставил неправильно ударения, а один раз опрокинул горшок с цветком и, прервав лекцию, побежал на кафедру спрашивать веник с совком. Там его отговорили от этого занятия, но сей инцидент мучил потом его ещё несколько месяцев. Вспоминался летящий горшок, разбивающийся вдребезги под смех студентов. Ему было жалко не сорванную лекцию, а сам цветок, который потом преломлялся в его искажённом сознании, представляясь символом жизни и молодости, красоты и цветения. Как оказалось, цветок потом пересадили.

«И зачем мне получать эту справку для допуска к преподаванию, у меня же есть медицинская книжка, в которой отмечено, что я совершенно здоров. Эту печать мне поставили за какие-то скромные полторы зарплаты. Но ведь нет, нужна ещё справка, якобы я здоров и по справке, и по медкнижке, можно сказать – вдвойне. Ну, ничего, на кафедре сказали, что надо просто прийти в медпункт, показать медкнижку как подтверждение, что здоров, и на этом основании выдадут справку». Опять Владимир Геометриевич удивлялся, отгоняя от себя рациональные мысли и вопросы, которые насыщали его голову, и твердя себе: «Надо значит надо, все просто: зашел, показал документ, и получил справку, и вышел. Дело сделано, всё просто».

Неожиданно Владимира Геометриевича стукнуло дверью по лбу. Отшатнувшись, он увидел выбегающего смеющегося студента Кренделева, с бумажкой в руке, который радостно отдалялся от него, не замечая никого вокруг.

«Видимо, вылечился», – подумал Владимир Геометриевич, наблюдая за знакомым студентом. Придержав дверь, зашёл в медицинский пункт. Молодая полненькая девушка в халате виднелась из форточки, прорубленной в середине двери, и занималась думами о здоровье вошедших сюда когда-то. Начальник картотеки.

– Здравствуйте, понимаете ли, – начал говорить, подходя к ней, Владимир Геометриевич, – мне необходима справка, для того чтобы дальше преподавать. Не могли бы вы мне выдать её на основании медкнижки?

– Вы кто? Медкнижка? Факультет? – проговорила сразу эта девушка и, получив медицинскую книжку, сказала:

– Всё понятно, у вас прививка просрочена, надо в архиве поискать. Если там есть, то повезёт, – и ушла в архив.

Просидев с час на скамейке, обитой на уроке технологии или рукоделия студентами, Владимир Геометриевич забеспокоился, что час уходит из его жизненных планов, предлагая жить дольше. Хлористый больничный запах напоминал о больном детстве. Но не это беспокоило его больше всего, он основательно думал о прививке. Круговорот его размышлений можно описать несколькими словами: «Что? Как? Зачем и почему?». Через некоторое время голос из-за стены заключил:

– Архив сохранился не полностью, искать не имеет смысла, скорее всего, вы её не делали. Приходите завтра с часу до двух, уколяет врач.

Сказав это, девушка села на своё место и принялась подчинять старые карточки больных.

Выйдя на улицу, Владимир Геометриевич ощутил пасхальное тепло с неба, почувствовав благо жизни. У него было в запасе порядка четверти часа на автобусе до бюро, где он трудился по основному месту. В автобусе он забылся, затолкался с людьми, невольно заслушался разговорами попутчиков, ощутил причастность к обществу. Распределял в голове деньги на оставшийся месяц, считал упущенную выгоду. Передал мелочь за проезд и вырвался из этого устройства, питающегося людьми. Правда, не совсем: чемодан зажевало дверьми и выдавило из него несколько «суждений Сократа» и вырезанное из газеты стихотворение поэта Олега Тётушкина, которые воспарили, с помощью ветра, над суетой. Владимир Геометриевич же собрался с силой и, вырвав свой порт-

фель, проводил их полёт глазами, не в силах возвыситься.

По дороге в бюро думал, что можно было недодать рубль, и когда бы эти деньги только дошли до кондуктора, он бы уже как с минуту вышел, получилась бы экономия. Потом подумал, что с этой логикой можно вообще не платить за проезд, но, осознавая мелочность своих мыслей, бросил их развитие. Подходя к бюро, увидел заледенелые два рубля на дороге и начал усердно бить лёд. Пот промочил его глаза и заставил снять шляпу.

В бюро оправдывался перед собой, что каблук на туфлях уже давно был стар, и если бы не эта причина, то он точно бы отвалился в скором времени.

– Владимир Геометриевич, скажите, пожалуйста, удачно ли вы сходили за справкой? – спросил его коллега культурным тоном.

– Вы знаете, Семён Розанович, я, к сожалению, получу эту справку, как только сделаю прививку. Так что извиняйте, я завтра отсутствую с часу до двух. Необходимо уколоться.

– Позвольте узнать, что за прививка?

– С этим сложнее, мне не сказали, – ответил Владимир Геометриевич, задумавшись о том, правильно ли он сделал, что не спросил, что за прививку необходимо ему делать. Но в то же время ответил себе: «Если бы он спросил об этом и ему не смогли бы ответить, то было бы ещё хуже оттого, что ему необходимо сделать прививку, а какую – не знают. Ну, это уж совсем глупость, как они определили тогда, что именно этой прививки у меня нет», – оборвал он свои мысли.

– Вот это да, – прервал его размышления коллега, – вы обязательно узнайте, что за прививку вам будут делать, и обязательно купите с собой чистый одноразовый шприц, а то мне рассказывали, что они там одним всем колют. Да и вообще, я помню, мне говорил друг одного моего знакомого сокурсника, что как-то один раз там кого-то укололи, и что-то произошло, не помню уже что, но люди об этом долго говорили.

Вечер Владимир Геометриевич провёл, как все предыдущие, за исключением двух обстоятельств, искаживших гладкую кардиограмму его жизни. Вечером он положил в карман пиджака пятимиллиграммовый закупоренный шприц. Несколько раз он примерял данный пиджак на предмет того, не выступает ли шприц, не топорщится ли от этого воротник, но, не придя к логическому выводу, лег в кровать. Ночью он никак не мог заснуть, ворочался в разные стороны, думал, осуществляя в голове мысленный вертеп: «Что? Как? Зачем и почему?».

«Что же это за прививка? Вот, например, я завтра зайду в медпункт, и надо прямо с порога, первым делом, спросить, что это за прививку вы мне собираетесь делать, и чистые ли у вас шприцы. Если не скажут, то отказаться, да и дело с концом. Или вообще уволюсь, просто пойду, напишу заявление. Приду вот, например, в деканат, меня сразу спросят: «Давайте нам справку, или не впустим», – а я им тут – заявление по собственному желанию, нате, выкусите – и баста. Обыграю их, так сказать. А подпишут ли без прививки это заявление? И всё же – что за прививку мне собираются делать? Я слышал в коридоре, студенты говорили, что они там, в медпункте, шприцы в тазах с водой хранят и там же полощут». Перебирая эти мысли, словно считая овец, Владимир Геометриевич пытался заснуть.

«Я знаю, мне говорил один дельный человек, что в жизни, пока руку кому-нибудь не посахаришь, сам в рот сахар не положишь. Поэтому я знаю, что делать. Деньги есть, но это пошло, да и зачем. Надо купить шампанское и коробочку конфет. Да, и там всё сделают, все печати сразу поставят и спрашивать не будут. И чего я раньше не догадался». Владимир Геометриевич заходит в кабинет к врачу, улыбается, вежливо присаживается рядом, передаёт большой разноцветный пакет и говорит: «Я вчера к вам приходил. Мне тут справочку обещали выдать». Доктор, приветливо улыбаясь, говорит: «Ах, да, конечно, какие пустяки». Тянется за печатью, и в это время

в кабинет заходят заведующая кафедрой, декан факультета и какие-то люди в штатском, берут его за руки и начинают кричать, что он взяточник, живёт не по правде. Владимир Геометриевич падает со стула, начинает тяжело дышать и, в конце концов, хватается за сердце, глубоко и конвульсивно заглатывая воздух и задыхаясь, как сломанный пылесос. Все эти люди, образовав круг, свысока строго смотрят на него.

Оборвавшийся сон утомил тело и разум. Пот, выступивший на высоком лбу, заиграл в лучах восходящего солнца. Ещё один день подарила жизнь.

«Дело в том, что мне необходимо основательно узнать, что это за прививка, как она называется, зачем делается, при каких условиях, какие противопоказания и какие у вас шприцы», – думал про себя, сидя на знакомой скамейке в ожидании, когда его пригласит в кабинет врач. Так Владимир Геометриевич готовился к прививке.

– Заходите, – женский взрослый строгий голос раздался из-за стены.

Владимир Геометриевич встрепенулся, дернул ручку процедурного кабинета, голова у него потяжелела, мысли скомкались, он почувствовал волнение, аналогичное испытанному на государственном экзамене по теории государства и права. Неизвестность, как и тогда, карала его ум за излишние думы.

– Раздевайтесь до пояса и ложитесь на кушетку, – сказал врач, не поворачиваясь к своему пациенту, ища в углу, по всей видимости, необходимые причиндалы.

Попытка сказать что-то в ответ доктору показалась не только нетактичной и неуместной, но и невозможной, так как надо было быстро раздеваться и ложиться на кушетку. От неспособности формулировать мысли и неотвратимости неизвестной прививки Владимир Геометриевич прилёг, побледнел, задёргался, тихо застонал, зашептал: «Зачем, зачем?». Команда

риный укус иглы почувствовало его тело, мысли пронеслись в его голове, как фотокарточки в альбоме. Бренность жизни, планы и невозможность ничего изменить нависли тяжёлым грузом, закрыв ему глаза.

В последующем на Владимира Геометриевича была выдана справка. В этот же день студент Кренделев не появился на занятиях, мотивировав это своей болезнью. Весь вечер заведующая кафедрой пыталась дозвониться до преподавателя Владимира Геометриевича, чтобы сообщить о новости, поступившей сверху, где уточнялось, что теперь тем, у кого есть медицинская книжка с печатью, справка не требуется, так как дублирует предыдущий документ.





Николай ТЮРИН

Антонов. Последний пожар

Отрывок из романа

Уступая сильному нажиму сверху, Тухачевский начал активное уничтожение сил повстанцев раньше запланированного срока. Ещё не все красноармейские части прибыли в его распоряжение. На местах не хватало милицейского состава и твёрдых коммунистических работников. Задерживалось прибытие трёх бронепоездов, затребованных Тухачевским у главнокомандующего Каменева. Но ждать дальше было нельзя.

Двадцать пятого мая из Москвы ему позвонил заместитель Троцкого Эфраим Склянский, который по личному распоряжению Ленина курировал вопрос подавления бандитизма на Тамбовщине.

– Михаил Николаевич, здравствуйте, – поприветствовал Склянский командарма.

– Здравия желаю, Эфраим Маркович, – твёрдым голосом без тени подобострастия ответил Тухачевский.

– Владимир Ильич интересуется, когда вы поймаете Антонова? Когда же, в конце концов, закончится бандитизм в вашем регионе? – несколько раздражённо спросил Склянский, на которого тоже нажимали с разных сторон. – Когда вы собираетесь докладывать на Политбюро?

– Товарищ Склянский, в настоящее время идёт сосредоточение наших сил и подготовка к ликвидации бандитов. Ожидаю прибытия в своё распоряжение девяти тысяч семисот красноармейцев, которые не являются уроженцами Тамбовской губернии. До сих пор нет бронемашин. Начало операции запланировано на первое июня. Спешка может привести к увеличению сроков ликвидации и излишним жертвам, – чётко доложил в трубку Тухачевский, прекрасно понимая, что слова его будут немедленно доложены руководству республики.

– Михаил Николаевич, не мне вас учить. Ситуация требует ваших решительных действий. По мере возможностей начинайте. Я немедленно переговорю с Каменевым о безотлагательной посылке вам бойцов и машин.

Тухачевский поморщился. Нет, в конечном успехе операции он несколько не сомневался. Численность бойцов Красной Армии в губернии уже приближалась к ста тысячам. Преимущество в орудиях, пулемётах и другом вооружении было колоссальным. Но у Антонова в плюсах значилось хорошее знание местности, поддержка населения и мобильность. Если где-то случатся неудачи, то вину за них повесят именно на Тухачевского, как это случилось на польском фронте. Тогда Сталин обвинил его в поражении Советских войск от армии Пилсудского. Однако с начальством спорить Михаил Николаевич не стал. Себе дороже.

– Вас понял, Эфраим Маркович. Прошу ещё три дня. Двадцать восьмого мая начнём.

– Хорошо. Я доложу Владимиру Ильичу. Удачи вам, – уже дружелюбно попрощался Склянский.

Тухачевский не стал откладывать дело в долгий ящик. Он тут же связался с Котовским, который по его указанию теперь дислоцировался в Инжавино.

– Григорий Иванович, добрый день. Как обстановка?

– Нормальная, товарищ Тухачевский. Занимаемся уничтожением условного противника. Ждём, когда сразимся с настоящим. Народ рвётся в бой.

– Вот и замечательно! Где противник?

– Он сейчас везде, Михаил Николаевич. Нет только там, где прочно стоят наши гарнизоны. Разведка доложила, что рядом в Куровщинскую волость зашёл восьмой Пахотно-Угловский полк Селянского, – отрапортовал командарму Котовский.

– Это нам и нужно, – обрадовался Тухачевский. – Приказываю выступить немедленно и уничтожить бандитов.

– Вас понял, товарищ командующий. Выступаю немедленно, – оживился Котовский, которому и самому порядком поднадоело долгое сидение на одном месте.

В этот же вечер стремительным броском кавбригада Котовского настигла полк Селянского на марше близ Куровщины и внезапно атаковала его. Плотным пулемётным огнём котовцы обратили в бегство противника, оставившего на поле до пятидесяти человек убитыми. Около сотни повстанцев, побросав оружие, сдались в плен, а остальные разбежались. В этом бою был убит командир Пахотно-Угловского полка бывший конокрад Василий Фёдорович Селянский.

Тухачевский горячо поблагодарил Григория Котовского за столь нужную победу. Теперь было что доложить в Москву, и без излишней нервотрёпки можно приготовиться к решающим действиям.

К двадцать восьмому мая главные силы второй повстанческой армии во главе с Александром Антоновым концентрировались в районе сёл Маркуша и Красное Колено юго-западнее станции Инжавино. Здесь находились четвёртый Низовой полк Ивана Вострикова, четырнадцатый Нару-Тамбовский Ивана Матюхина, шестнадцатый Золотовский Максима Назарова, остатки Пахотно-Угловского полка, третий Кирсановский самого Антонова и Особый Якова Санфилова. Общая численность собранных Антоновым войск достигала трёх тысяч человек.

Александр из донесений знал о надвигающейся угрозе. Прибытие огромного количества красных войск просто невозможно было скрыть. Накануне его разведчик сообщил, что красные затевают что-то серьёзное.

– Агентура докладывает, Александр Степаныч, что в Инжавино, Кирсанове, Ржаксе, Уварово большое скопление красных частей. Много орудий и пулемётов, – сообщил командиру Герасев.

Они сидели в крестьянской избе в деревне Маркуша. Тут собрался импровизированный штаб повстанцев. Присутствовали Востриков, Назаров, Дмитрий Антонов, Павел Эктов, Санфиоров Яков и Матюхин Иван. Все нещадно дымили самокрутками. Густой дым заволакивал комнату, несмотря на приоткрытые окна.

– Плохо дело. Зажмут они нас, – задумчиво ответил Антонов. – Надо уходить.

– Куда, Степаныч? – спросил Иван Матюхин, которому не хотелось покидать знакомые места.

– На север губернии нельзя. Это верная гибель.

– А, может, попробуем с первой армией соединиться? – предложил, казалось бы, простую мысль Иван Востриков.

– Пробовали ведь уже, – вспомнил Дмитрий Антонов неудачную попытку воссоединения с Колесниковым. – Только людей напрасно положили. А теперь там целый укрепрайон у красных.

– Дмитрий прав. Это не выход, – поддержал брата Антонов.

– Тогда что, Степаныч? Куда уходить? – глухо спросил Санфиоров, тяготящийся разлукой с домом.

– Выход один, мужики. Пойдём на Саратовскую губернию. Оттуда на Дон можно прорваться, – ответил Антонов, понимая, что сейчас последуют возражения.

И они последовали. Со своего места медленно поднялся Максим Назаров, у которого в полку не было инородцев.

– А мужики пойдут, Александр Степаныч? От своих-то дворов? На кого семьи оставить? – прогудел он. – Кто их защитит?

Назаров давно воевал с Антоновым и сейчас злился не на него, а на саму жизнь, поставившую их в такое безвыходное положение.

– Мужикам вы, отцы-командиры, сами должны всё объяснить-растолковать. И я скажу. Нет у нас другого исхода. Здесь – погибель, а там – надежда, – поднялся со своего места и Александр, зажестикуюлировал, доказывая очевидное своим соратникам.

– Верно. Правильно Степаныч говорит, – подхватили Дмитрий и Иван Востриков.

– Да понимаю я, – в сердцах махнул рукой Назаров и опустил на лавку. – Только как же жить-то тогда?

– Ничего. Мы не навсегда уходим. Вернёмся.

В эту минуту в избу вошёл Иван Старых и доложил:

– Там, Александр Степаныч, из Царёвки пахотно-угловские прискакали. Говорят, что полк разбит Котовским. Селянский убит.

В избе на несколько секунд установилась тишина. Новость о столь крупном поражении была ошеломляющей.

– Началось, – первым выдохнул Дмитрий, прервав затянувшееся молчание.

– Ваську жаль. Лихой был мужик, – произнёс Востриков и перекрестился на иконы в углу.

– Нельзя ждать. Нельзя! Уходить надо, – засуетился Матюхин, бессмысленно поправляя на себе одежду. – Командуй, Александр Степаныч.

– Значит так. Выступаем завтра на рассвете. Всем полкам готовиться. Передать приказ во все отряды: пусть присоединяются к нам. Ну а кто не захочет – неволить не буду. Пусть остаются. Каждый должен решить за себя.

С этими словами Антонов вышел из избы и отправился

готовить свой Кирсановский полк. За ним, морща лбы и обдумывая обстановку, разошлись остальные командиры.

Сборы были недолгими, ибо самое необходимое постанцы возили с собой. Поводья в одной руке, винтовка в другой да за спиной котомка с нехитрыми припасами. Большинство мужиков решили следовать за своими командирами.

– Степаныч знает, что делать. Главное – голову свою сохранить. Авось, пригодится, – так мужики беседовали между собой, готовя лошадей в дорогу.

Однако в Саратовскую губернию ушли с Антоновым не все. Одним из таких оказался Иван Ишин. С небольшим отрядом он скрылся на труднодоступных островах в пойме реки Ворона близ села Рамза. Оттуда он совершал краткосрочные вылазки, тревожил красные части и пополнял запасы продовольствия.

Совсем немного опоздал Тухачевский. Двадцать восьмого мая его заместитель Иероним Уборевич возглавил группу преследования, состоявшую из кавбригад Дмитриенко и Котовского общей численностью более двух тысяч сабель при пятидесяти шести пулемётах. Антонову удалось выскользнуть из готовившегося окружения и без существенных помех уйти в Сердобский уезд Саратовской губернии. Сил для разгрома Антонова у Иеронима Уборевича было явно недостаточно, и он срочно запросил у Тухачевского подмогу.

– Товарищ Тухачевский, сводную группу нужно незамедлительно усилить отрядами из полугрузовиков с пулемётами, ибо истощённый конский состав не позволяет нам преследовать противника, – Уборевич звонил командарму со станции Умёт.

– Но ведь и у Антонова кони устают, – раздражённо бросил в трубку порядком вымотавшийся за последнее время Тухачевский.

– Антоновцы при первой возможности меняют в сёлах коней. Не церемонятся с местным населением. А мы вынужде-

ны ждать, когда наши кони отдохнут. Теряем соприкосновение с противником. А потом уходит масса времени на поиски. С машинами мы за несколько дней покончим с Антоновым.

– Возражений у меня нет, Иероним Петрович. Главное – скорейший и беспощадный разгром бандитов. Бронемашины немедленно высылаю на Кирсанов. Туда же прибывает сегодня четырнадцатая кавбригада Милонова. Переподчиняю её вам. Действуйте.

На установку взаимодействия с частями потребовалось ещё какое-то время, за которое Антонов вновь сумел оторваться от противника. Сея хаос и ужас, неслись его отряды по Сердобскому уезду. Сюда антоновцы пришли не впервые. Ещё в двадцатом году в сёлах Репьёвка, Красная Звезда, Урусово, Елань и других ими было замучено и убито свыше ста коммунистов. Много советских активистов антоновцы зарубили в селе Макарово.

А в феврале двадцать первого года страшная трагедия развернулась в селе Шило-Голицыно. Отрядам Григория Плужникова и свирепствовавшей Марии Косовой удалось окружить бойцов продотряда из города Воскресенска. После ожесточённого сопротивления оставшихся в живых красноармейцев антоновцы взяли в плен. Плужников приказал сорвать с пленных тёплую одежду.

– И руки им за спиной свяжите. Они им больше не потребуются, – криво усмехнулся Григорий.

Одиннадцать раздетых и разутых красноармейцев стояли босиком в снегу на пятнадцатиградусном морозе. Но они не просили пощады. Это были закалённые пролетарии, борцы за лучшую, как им виделось, долю. Свою долю. Не крестьян. Они смело смотрели смерти в глаза. Председатель Шило-Голицынского волисполкома Иван Сорокин, член партии большевиков с девятьсот пятого года, хриплым голосом запел интернационал:

*Вставай, проклятьем заклеимённый,
Весь мир голодных и рабов.
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов...*

Рабочие-красноармейцы сначала тихо, а потом всё громче и громче подхватили: «Это есть наш последний и решительный бой...»

Из группы бандитов к пленным порывисто подалась Мария Косова, сунула наган в лицо Сорокину и нажала на спуск. Песня замерла на полуслове. Сорокин ничком упал в снег, а Косова медленно побрела за избу со словами:

– Ненавижу, ненавижу...

– Руби их, ребята, – скомандовал Плужников.

Замелькали шашки, разрубая морозный воздух и мягкую человеческую плоть.

Отлетали отрубленные руки, падали головы с перерезанных шей. Снег вокруг мгновенно стал ярко-красным от крови. И вдруг всё стихло. Бандиты вытирали окровавленные шашки о снег и ошарашенно глядели на только что содеянное. Начав убивать – остановиться трудно. Пролитая кровь пробуждает инстинкт безжалостного зверя, страдающего неутолимой жадой насилия.

И вот теперь, в июне двадцать первого года, крестьяне саратовских сёл в страхе наблюдали за движением антоновских полков. Мало кто им здесь сочувствовал, но лошадей и еду отдавали безропотно. Торопясь уйти от следовавших за ними по пятам красных, антоновцы во многих сёлах не задерживались. Бросали загнанную лошадь и забирали без разговоров свежую. У большинства бойцов в полках не было сёдел. Ехали на подушках, подвязанных к крупу лошади верёвками.

Эта орда, пользуясь неожиданностью, ворвалась в Ртищево. Расчёт был прост. У Антонова катастрофически не хватало патронов, и достать их можно было только у красных.

Ртищевский гарнизон антоновцы застали врасплох. Прикрывавший станцию бронепоезд двумя часами ранее ушёл на Аткарск, а батальон красноармейцев не смог удержать железнодорожный узел. Началось очередное разграбление складов и эшелонов.

– Патроны, патроны ищите, – отдал распоряжение Восстрикову наблюдающий за грабежом Антонов. На сером рысаке он крутился возле здания вокзала в окружении комендантского взвода Особого полка.

– Есть патроны, Степаныч! – доложил Матюхин, прибежавший с путей от составов. – Вагоны там.

– Грузите на повозки. Живее! Иван, – крикнул Антонов адъютанту, – поторопи Санфинова. Пусть цистерны с водой взорвёт. Паровозы задержим.

– Сейчас, – ответил Старых и направил лошадь к дальним пакгаузам, где всю хозяйничали бойцы Особого полка.

Ртищево повстанцам целиком взять не удалось. Опомнившись, красноармейцы пытались контратаковать, обстреливали от дальних домов здание вокзала. Пуля свистнула рядом с головой Антонова, и он невольно дёрнулся, уворачиваясь.

– Саня, давай за угол, – предостерег его Дмитрий, гарцевавший рядом на красивом вороном жеребце. – Приметили нас.

– Уходить надо. Димка, командуй отход. На Хопёр пойдём, – Александр пришпорил коня и поскакал вдоль вокзальной улицы, отдавая на ходу приказание партизанам. Густая стрельба за станцией заставляла торопиться. Кирсановский и Низовой полки едва сдерживали натиск подоспевших кавбригад Котовского и Дмитриенко. Положение антоновцев стало угрожающим. С Аткарска красные подвели бронепоезд, но вовремя разобранные повстанцами пути не позволили ему зайти на саму станцию. Упершись в преграду, бронепоезд остановился и повёл беспорядочный орудийный огонь по партизанам.

Даже такая стрельба, не приносившая антоновцам особого урона, заставила их начать неорганизованное отступление.

Дмитрий метался по станции, торопил мужиков, тащивших различное барахло.

– Брось, дурак! – крикнул он партизану, волочившему ворох неизвестно где взятых женских пальто. – На тот свет тянешь? Винтовку возьми.

Винтовка у мужика висела за спиной на длинном ремне и больно била его по ногам, но он не обращал на это никакого внимания. Он вообще не обращал ни на что внимания. Вращая большими пустыми глазами по сторонам, он бежал к обозу, крепко сжимая в руках добычу.

– Эх, чёрт подери! И за таких воевать надо, – ругнулся Дмитрий и ещё сильнее заорал. – Всем уходить на Хопёр. Будем переправляться.

Прикрывая отход пулемётным огнём, антоновцы оставили Ртищево и потянулись к Потьме, где находилась хорошая переправа через реку. Но Тухачевский успел перекрыть все возможные пути их движения. Ещё накануне он связался с командующим войсками Саратовской губернии Витовтом Казимировичем Путной и попросил его об усилении войск по линии следования Антонова. Путна сразу перебросил полки Омской дивизии на направления Аткарск-Ртищево и Камышин-Балашов. Между этими станциями непрерывно курсировали бронепоезда, мешая антоновцам переходить железнодорожное полотно. В местах возможных переправ через Хопёр в засадах сидели части местных добровольческих отрядов, усиленные пулемётами.

На рассвете первого июня основные силы Антонова, преследуемые конницей Котовского и Дмитриенко, не заходя в Потьму, устремились к броду через Хопёр. Река здесь разливалась на семьдесят-девять метров, но была достаточно мелкой. В самом глубоком месте доходило до полутора метров. Не зыбкое песчаное дно позволяло без помех переправляться на другой берег.

Достигнув реки, усталые кони партизан принялись жадно пить светлую прохладную воду, не обращая внимания на всадников, лихорадочно их понукавших. Задние ряды напирали на передние, создалась сумятица. В колонне двигалось несколько фургонов с захваченным в Ртищево добром. объезжая затор, фургоны двинулись через брод. В этот момент с горы на правом берегу Хопра звонко ударили пулемёты, затрещали винтовочные выстрелы сидевших в засаде красноармейцев. Река вмиг закипела, забурлила. Падали в воду сражённые люди и кони, металась раненые, тщетно ища спасения на открытой местности. Чистая вода Хопра тотчас сделалась багрово-красной. Об обороне не могло быть и речи. Только бы ноги унести, только бы целым остаться! Некоторые повстанцы в отчаянии бросились на противоположный берег навстречу разящему огню. Возницы перерезали построики уцелевшим лошадям и, бросив фургоны, устремились на них к берегу. Нескольким десяткам партизан удалось прорваться, и они берегом ушли на Тамбовщину. В их числе оказался и Павел Тимофеевич Эктов, помощник Антонова по оперативным вопросам.

Остальная масса антоновцев повернула назад. Выручать фургоны из воды никто не стал и красным достались штабные документы Антонова, архив, канцелярия и личные вещи повстанцев.

Антонов, на его счастье, не находился в первых рядах войска. Услышав стрельбу, увидев начавшуюся панику, он мгновенно сообразил, что его части попали в ловушку. Путь из неё был один.

– Вдоль берега на Макарово. Быстрее! – распорядился Александр и огрел коня плёткой.

Он и Дмитрий принялись разворачивать смешавшиеся полки. Ситуация была критической. Спереди засада, сзади наседают красные кавбригады. Точно дикий зверь в клетке метался Антонов. Спасло от разгрома наступление ночи. Антонов вновь оторвался от красных и расположился на ночлег в

небольшом лесочке, не заходя в сёла, так как боялся внезапной атаки противника.

При тусклых отблесках костра, сидя на небольшом пенёчке, Антонов тщательно чистил свои наганы. За оружием он всегда следил, ибо хорошо знал цену осечки. Тут же, кто чем, занимались Востриков, Дмитрий и Иван Старых. Слева, справа, вокруг них слышались голоса, всхрапы коней и прочая возня. Из темноты к костру подошёл Санфи́ров.

– Яков, люди целы? – спросил его Антонов.

– Эктов пропал. Он с фургонами был. С ним эскадрон. Может, и прорвались на ту сторону.

– Твою мать! – не удержался от ругани Александр. Эктова он ценил за трезвый ум и расторопность. – Ещё одного потеряли.

– Не одного, – поправил его Востриков. – Моих двадцать шесть полегло.

– У Матюхина и Назарова поболе, – подал голос Дмитрий. – Ох, и злы у них мужики. Проезжал я мимо. Ругань стоит страшная.

– Всех жаль, – ответил Александр. – А где же сами Назаров с Матюхиным? Обсудить надо.

– Сейчас придут, – произнёс усталым голосом Санфи́ров и присел возле костра.

И точно. Минут через пять подошли Назаров и Матюхин, опустили на траву, вытянув гудящие ноги.

– Как мужики? – осторожно спросил их Антонов.

– Плохо, Степаныч. Не хотят они на Дон идти. Умереть и дома можно. За день более пятидесяти человек потеряли, – отозвался Максим Назаров.

– Требуют в свои места пробираться. Там, говорят, хоть хлеба дадут, а здесь у такого же обездоленного мужика силой отбирать приходится, – продолжил командир Нару-Тамбовского полка Иван Матюхин.

– Дураки. Ох, дураки! – завёлся Антонов. – По частям

нас как тот веник по пруту переломают. А вместе есть шанс.

– Где он, этот шанс, Степаныч? – решил на открытый спор Матюхин. – Ты знаешь, я с тобой завсегда. Но сейчас мы словно в капкане. Повсюду красные. Нет, надо домой вернуться.

– Нельзя, Иван. Понимать должен, – поддержал Антонова Востриков. – Мы потому и бежим оттуда, что горячо там стало. Добьют нас там.

– Переждать надо, мужики. А вернуться всегда успеем, – высказался Дмитрий и подкинул в костёр сучьев. Пламя с искрами стрельнуло вверх, ярко осветив напряжённые лица командиров.

– Мужики против. Сейчас собрание было. Говорят, веди обратно, – огорошил Антонова Максим Назаров.

– Так... Не ожидал, – с расстановкой произнёс Антонов. – И тамбовские?

– Да, Александр Степаныч. Не брани. Не поведу – они сами разбегутся. А так, когда ты сам вернёшься, опять соединимся, – ответил Иван Матюхин.

– Растудыт её мать! – грубо выругался Востриков, кинул палку с силой в костёр, подняв ворох искр. – В самый тяжёлый момент.

– Идите, – вдруг спокойно согласился Антонов. – На погибель уходите.

Заполночь распрощались. И ведь на какое-то время повезло отколовшимся Золотовскому и Нару-Тамбовскому повстанческим полкам. В густой темноте им удалось форсировать Хопёр в районе села Красная Звезда, потеряв всего несколько человек убитыми. Оттуда они направились на Тамбовщину. Серьёзной погони за ними не было, поэтому они без существенных потерь достигли родимых мест. Золотовский полк будет разгромлен позднее, в июле у родного села Золотовка. До трёхсот человек будет убито, а остальные, без малого, сдадутся в плен.

Антонов, как и планировал, на Тамбовщину не пошёл.

Ранним утром второго июня его войско в составе Низового, Кирсановского и Особого полков перешло железнодорожную линию Ртищево-Екатериновка и ворвалось в село Елань. Налёт был стремителен и беспощаден.

– Коммунистов не брать! Собакам собачья смерть, – распорядился Антонов, направляя быстро растекающиеся отряды по улицам села.

Оголтелая толпа заполонила Елань. Кто-то из сочувствующих им крестьян указал здание волисполкома, которое антоновцы тотчас взяли в кольцо. Внутри оказались четверо коммунистов. Видя несметное полчище противника, они не оказали сопротивления и сдались. Подталкивая штыками и ударяя прикладами, их вытащили из избы на улицу.

– Руби эту падаль, – коротко скомандовал раздражённый последними неудачами Антонов.

В одну минуту всё было кончено. Обезображенные тела подбирать не стали. Некогда.

– Еды и лошадей. Не задерживаться, – Антонов безучастно отвернулся от поверженных и заторопил подчинённых.

– Сильно мужиков не обижать. Пригодятся ещё, – закричал Дмитрий в толпу, устремившуюся потрошить дворы.

– Не до сантиментов теперь. Бери и беги, – незлобно сказал ему Востриков.

Не успели антоновцы как следует тряхнуть Елань, как в село ворвались три броневика, поливая повстанцев налево и направо из пулемётов. С таким страшным чудом техники партизанам сталкиваться ещё не приходилось. К этим машинам невозможно было подступиться, а пули отскакивали от них, не причиняя никакого вреда. Для партизан же урон от них был колоссальный.

Собирались эти бронемшины на базе автомобиля «Фиат» на Ижорском заводе. По тем временам они имели отличную скорость по шоссе шестьдесят пять-семьдесят километров в час и тридцать-сорок километров в час по пересечён-

ной местности. Запас хода достигал ста сорока километров. Имея необходимый запас горючего, они могли безостановочно преследовать противника, коням которого требовался отдых. У броневиков было по две пулемётных башни, в которых располагались пулемёты «Максим», смонтированные на зенитных станках для круговой стрельбы. Экипаж состоял из пяти человек, включая командира машины.

В Елани на Антонова выскочили бронемашины автоотряда имени Якова Свердлова, возглавляемые Юлианом Конопко, который у Свердлова ранее был личным шофёром. Бронеотряд создали в восемнадцатом году. Его бойцам довелось охранять членов правительства во время их переезда из Петербурга в Москву. В девятнадцатом году автоотряд храбро сражался на фронтах гражданской войны. Уборевичу доводилось видеть эти бронемашины в действии, и он высоко оценивал их боевые качества.

Заняв место командира одной из машин, Иероним решительно атаковал повстанцев на улицах Елани. Антоновцы, не церемонясь с местными мужиками, занимались привычным грабежом и не ожидали столь стремительной и сокрушительной атаки. Бронемашины ворвались в центр села в самую гущу бандитов и плотным пулемётным огнём обратили противника в бегство.

Уже далеко за Еланью Антонов собрал воедино своё потрепанное войско. Оказалось, что в Елани погибло более двухсот партизан.

– Куда теперь, Степаныч? – спросил Антонова раздосадованный Востриков.

Они остановились в небольшом овраге и здесь поджидали отставших, давая тяжело дышащим коням небольшой отдых. Востриков чинил лопнувшие ремни упряжи и в бога-в душу-мать ругал большевиков.

– От машин не уйти, язви её в коромысло. Лошади как бешеные шарахаются. У мужиков глаза безумные. Летят врассыпную, не разбирая дороги.

Антонов тревожным взглядом обвёл шебуршащее войско, которое кое-как понемногу приходило в норму.

– Прав ты, Ваня, – ответил он Вострикову. – Тут привыкнуть надо. Машины шашкой не возьмёшь. Гранаты нужны.

– А гранат нет. Где их взять? Уже и патроны к концу, – сердито проворчал Востриков, встряхнув подсумком.

– На Сердобск надо попробовать. Там разживёмся, – предложил Антонов.

– Вон кого-то Санфиоров ведёт, – показал рукой в сторону Дмитрий.

В овраг спустились Яков и незнакомый мужик в старом изодранном кафтане, подошли к командирам.

– Вот, Александр Степаныч, ценные сведения принёс, – обратился к Антонову Санфиоров, кивнув на мужика. – Говори, Фрол, что знаешь.

И мужик, житель одного из близлежащих сёл, быстро-быстро заговорил, проглатывая слова:

– В Сердобске красных уйма. Местные все вооружились, и из Саратова отряд прибыл. Много народа. Пулемёты у них. Вас поджидают. Нельзя вам туда.

– А пушки есть? – хмуро спросил Антонов, понимая, что весь его план сыплется к чертям собачьим.

– Бронепоезд на станции. И от Ртищева бронелетучка ходит. Сам видел. Нельзя. Всех положат. Сгинете там, – опять затарахтел мужик.

– Не трещи ты! – морщась, оборвал его Александр. – Сам понимаю.

– От Тамбовщины отрезают. Что делать будем? – спросил Востриков.

– Пойдём на Бакуры. Тут речушка небольшая, но машинам не пройти. Отстанут, пока крюк сделают до переправы. Поднимай, Дмитрий, людей. Ждать дальше нечего.

Дмитрий проворно вскочил на коня и поскакал среди кучек мужиков, покрикивая на ходу:

– Выступаем. Всем двигаться за головным отрядом.

Зашевелилось почти двухтысячное войско и медленно потекло в сторону реки Сердобы. Добравшись до реки, антоновцы благополучно её форсировали и, разрушая за собой мосты, продолжили путь на север. Но далеко уйти не удалось. Четвёртого июня семь бронемашин, руководимых неутомимым Уборевичем, настигли повстанцев у деревни Бутурлиновка. Сорок семь красноармейцев автобронепатруля устроили антоновцам настоящий ад. От разящих пуль на открытой местности негде было спрятаться. Размежёванное поле с жалкими ростками ржи покрылось десятками трупов людей и лошадей. Напрасно Антонов пытался конной атакой сбить машины. Понеся большие потери, повстанцы повернули коней вспять, не обращая внимания на команды командиров.

– В Бакуры все. За домами укроемся, – оценив обстановку, громко прокричал Александр, вертясь на своём жеребце в гуще мечущейся массы.

Конь его издали привлекал внимание своей статью, и красноармейцы его скоро приметили, повели по нему прицельный огонь. Во главе Кирсановского полка Антонов поскакал в Бакуры. За ним устремились полки Вострикова и Санфинова, подгоняемые пулемётным огнём с бронемашин, которые немного поотстали, так как им приходилось объезжать глубокие овраги. В Бакурах Антонов поджёг крайние хаты, а на дорогу его мужики набросали бороны, отобранные в селе. Это было хоть и небольшое, но, всё же, препятствие.

– Долго не продержимся, – сказал Антонову Востриков, когда они укрылись от пуль наседающего противника за большой избой.

Антонов с тревогой посмотрел на всё ещё высоко стоящее в небе солнце.

– До темна нужно. Иначе не уйдём.

– Попробуем, – отозвался Дмитрий, набивавший тут же обойму нагана патронами.

– Яков, – обратился Антонов к Санфирову, – давай со своими на тот конец села. И держись изо всех сил. А мы здесь постоим. По темноте соединимся и уйдём на Пензенскую губернию.

– Не беспокойся, Александр Степаныч. Не подведём, – уверенно ответил бывший унтер-офицер и поскакал собирать свой закалённый в боях полк.

– Не подведёт, – произнёс Иван Старых, провожая взглядом удаляющегося Санфирова. – Он и в Калугино на кулачках всегда до последнего бился.

– Эх, тут одной отвагой не справиться. У красных сила, – проскрипел зубами Антонов.

– Прорвёмся, – как всегда задорно ответил Дмитрий, на щеках которого от волнения играл румянец.

А бой закипел с новой силой. Бронемашины, наконец-то преодолев овраги, устремились к селу. В это время на подмогу к ним подоспела четырнадцатая кавбригада Милонова. Но с наскока взять Бакуры им не удалось. Антоновцы успели хорошо укрепиться и теперь, хотя и с большими потерями, но, всё же, отражали атаки. Сам Антонов, перебегая с улицы на улицу, умело руководил боем.

Силы наступавших и оборонявшихся были неравны. Поздним вечером Уборевич на бронемашинах прорвался-таки в центр села. Попробовал, было, Востриков со своим полком отчаянной атакой с шашками наголо достичь автомобилей, но пулемёты выкашивали партизан как траву. Потеряв мгновенно более десятка убитыми, атакующие рассеялись и повернули обратно, спрятались за избами. От полного разгрома Антонова вновь спасла наступившая темнота, в которой его войско мелкими группами пошло на прорыв.

А на дальней окраине села Санфиров умело сдерживал конницу Милонова, не давая ей рассечь свои порядки.

– Надо Яшку поддержать, – непрерывно стреляя по спешившимся красноармейцам, крикнул Дмитрий брату.

– Нельзя, Димка. Людей положим. Это наш шанс. Пока Яков прикрывает, мы уйдём, – ответил ему Александр и запрыгнул на коня. – Давай, за мной.

Напрасно Санфиров ждал сигнала от Антонова. Не пришло к нему и подкрепление. Он понял, что Антонов, пользуясь его гибнущим полком, пытается спастись.

– Бросил? – озарила неприятная догадка Санфирова. – Ах, ты паскуда! Умирать оставил. Ничего. Этого я не забуду.

О прорыве через бронемашину к антоновским полкам не могло быть и речи. Пришлось с боем прорываться через ряды красных кавалеристов, которые пленных не брали и безжалостно рубили шашками даже сдающихся. Здесь неплохо поупражнялся во владении шашкой и сам Георгий Константинович Жуков.

В Бакурах антоновцы потеряли ещё около пятисот человек убитыми и десять пулемётов. Теперь с Антоновым не было Особого полка, что значительно уменьшило его силы. Позже он выяснит, что Санфиров с уцелевшими в мясорубке бойцами окольными путями пробрался в родные Инжавинские места. Сам Александр во главе изрядно потрёпанного войска, насчитывавшего теперь чуть более тысячи человек, по территории Пензенской губернии также устремился к Тамбовщине, норовя как можно скорее достичь знакомых спасительных лесов в пойме реки Вороны. День и ночь, ускользая от преследовавшего противника, продвигалась голодная оборванная орда на свою землю. Останавливались лишь на короткий отдых для лошадей. О попытке прорваться на Дон речи больше не шло.

– Не пойдут они, Степаныч. Не неволь мужиков, – предостерёг Александра Востриков на очередном привале.

– Знаю, – печально ответил Антонов. – Быть ихнему. А домой ещё добраться надо.

Словно подтверждая его слова, над головами застрекотал мотор Ньюпорта. Красные проводили авиаразведку, от которой повстанцам укрыться было негде. Партизаны откры-

ли по самолёту винтовочный огонь, и он, сделав один круг, скрылся за горизонтом.

– Жди беды, – провожая тревожным взглядом удаляющийся самолёт, сказал Дмитрий.

– Подымай людей, – засуетился Александр, и орда вновь пришла в движение.

Шестого июня повстанцы обошли с юга село Чембар Пензенской губернии и остановились на отдых в селе Чернышёво. Лошади решительно отказывались двигаться. И хоть понимал Антонов, что опасное место выбрал для ночлега, но делать было нечего.

Здесь всё повторилось в точности, как в Бакурах. Не успели беглецы приготовить обед, как в Чернышёво ворвались бронемобили. Только в этот раз ни о каком организованном сопротивлении со стороны повстанцев речи не шло. Оставив горящие костры, на которых дымилась похлёбка, побросав котелки, ложки и прочий нехитрый скарб, повстанцы мелкими группами бросились из Чернышёво в сторону Ширяевского леса. Отстававших расстреливали из пулемётов следовавшие по пятам бронемашин.

Антонов во весь опор скакал на выносливом жеребце, подавшись вперёд и нашёптывая ему что-то на ухо. Конь, далеко вперёд выбрасывая красивые стройные ноги, стремительно уносил Александра к спасительному лесу. Рядом скакали на хороших лошадях Востриков, брат Дмитрий, Иван Старых, комендант Низового полка Трубка и ещё несколько бойцов комендантского взвода.

– За мной! Не отставать! – прокричал, обернувшись, Антонов.

Лес уже близко. Ещё бы чуть-чуть. Но в это время с одной из бронемашин заметили удаляющуюся группу всадников на хороших строевых лошадях. Бронемашин бросилась в погоню, а пулёмётчики повели прицельный огонь на поражение. Несколько сопровождавших Антонова бойцов упали, сражён-

ные красными пулями. Не уберётся и Александр Степанович. Пуля попала ему в голову.

– Ох, – простонал Антонов и начал заваливаться на бок.

Но его хорошо вышколенный конь не замедлил бега, унося седока всё дальше от гибели. Увидев, что брат ранен, Дмитрий приблизил к нему своего коня и придержал Александра за плечо. А через секунды за их спинами сомкнулся Ширяевский лес, куда бронемашинам не было ходу.

Дмитрий и Иван Старых, проехав ещё немного вглубь леса, в зарослях осинника бережно опустили Александра на траву. Он был в сознании. Пуля угодила в голову по касательной, вырвав на виске клочок кожи. Кровь резвой струйкой стекала по лицу Александра на гимнастёрку.

– Гляди ты! Зацепило, – как бы не веря произошедшему, произнёс Александр.

Он давно был убеждён в своей исключительности и не верил, что так легко может пропасть, хотя каждый день вокруг него гибли десятки других людей.

– Давай, Степаныч, перевяжу, – попросил его Старых.

Он достал из сумки чистые лоскуты и умело наложил командиру повязку.

– Как ты? Ехать можешь? – спросил брата Дмитрий.

– Смогу должно. Гудит только очень, – Александр, придерживаясь за ствол осинки, встал на ноги.

Чуть пошатнулся, но устоял, крепко стиснув зубы. От усталости и ранения его немного подташнивало.

– Ты присядь лучше, Александр Степаныч. Отдохни, – заботливо предложил ему Старых.

– Где Востриков? – спросил Антонов, вновь опускаясь на траву.

– По кустам людей собирает, – ответил Дмитрий.

Из зарослей вышел Востриков и встревоженно спросил Антонова:

– Живой? Не сильно?

– Цел. Говори, что с людьми.

– Плохо. Полный разгром. Человек пятьсот осталось. Армии нашей больше нет.

У Антонова от злости и бессилия даже слёзы навернулись на глаза. Он отвернулся в сторону и яростно несколько раз рубанул шашкой по осинкам.

– Говорил дуракам. Не послушались, – проскрипел он сквозь зубы, бросив шашку, и обессиленно привалился к дереву.

– А завтра они и нас здесь порешат, – мрачно предположил Востриков.

– Должен быть выход, – сказал Дмитрий, по молодости лет не веривший в столь скорый печальный исход.

Александр уже пришёл в себя и более спокойным тоном произнёс:

– Уйдём. Пока не подошли кавалеристы, есть шанс. Лес этот небольшой. Завтра они его окружают и тогда нам крышка. Ночью уйдём. Двумя отрядами. Ты, Дмитрий, с первым в полночь выступишь.

– Зачем делиться? Давай вместе, – предложил Дмитрий

– Нет. Большим отрядом не спрячемся. Сам видишь. Загнали. И потом: хоть один, да цел останется. А повезёт, у Рамзы на болотах встретимся. Ишин теперь там. И людям еда будет.

– А ты когда?

– Мне чуть отдохнуть надо. Часа через три за тобой пойду.

– Удачи, брат, – произнёс Дмитрий, обнимая Александра.

Ночью на руку партизанам разыгралась непогода. Поднялся ураганный ветер и пошёл ливень. Пользуясь кромешной темнотой, Дмитрий в полночь с отрядом в сто пятьдесят человек вышел из леса и направился в Кирсановский

уезд. Следом с остатками армии отправился и Александр, рана которого сильно болела, но позволяла ехать верхом. Превозмогая порывы ветра, промокшие насквозь, они балками объехали красные посты, оставив красноармейцев охранять уже пустой лес.

Утром красные обнаружили свою оплошность, и погоня возобновилась, перемежаемая скоротечными стычками, в которых антоновцы несли большие потери. До Чутановского леса под Кирсановом повстанцев добралось около ста пятидесяти человек. Там отряды братьев вновь соединились. Положение было критическое. Рана у Александра разболелась, мешая соображать. Руководить жалкими остатками войска Антонов уже не мог.

– Лечить Степаныча надо. Иначе беда будет, – предупредил Старых Дмитрия, отведя того немного в сторону от одыхавшего под берёзками Антонова.

– Что делать, Ваня? – встревоженно спросил Дмитрий, переживающий за брата.

– На острова надо. В Рамзе бабка есть, травница. Полежит.

– Пойду ему скажу, – произнёс Дмитрий.

Заслышав приближающиеся шаги, Антонов открыл красные воспалённые глаза, облизал сухие губы и тихо спросил:

– Что, брат? Умирать не пора мне?

– Брось. Подлечим. На островах отлежишься.

– А войско?

– Ты им живой нужен. Пусть к своим сёлам идут. До приказа.

– Правильно, – неожиданно легко согласился Александр. – Скажи Вострикову. Пусть командует.

В ночь на восьмое июня, оставив остатки разбитых полков, братья Антоновы, Иван Востриков и их ближайшее окружение, всего человек сорок, покинули Чутановский лес и

ушли в неизвестном направлении. Попытка красных найти их не увенчалась успехом.

По прямому проводу со станции Умёт Иероним Уборевич доложил Тухачевскому:

– Основное ядро Антонова рассеяно и разбито. Разрозненные группы скрываются в лесах южнее Кирсанова. Бандиты потеряли все пулемёты, обоз и израсходовали почти все патроны.

– Благодарю за службу, Иероним Петрович, – удовлетворённо ответил командарм.

Десятого июня приказом командования сводная группа Уборевича была расформирована, а её подразделениям предоставили краткосрочный отдых.





Марта БАРТНОВСКАЯ

«Я здесь никто, зови меня никем...»

Стихи

Деревья

В осенней радости моей
Полно печали.
И сути нет, и смерти нет
В её начале.

Я вижу блеклые стволы
В небесной розе.
Средь них поэзия летит
На смену прозе.

Она споткнулась о кору
Зелёных кленов.
И нет спасенья от её
Кровавых стонов.

Она разлита от корней
До самой кроны.

С одной царапины её
Алел зелёный.

Она не видит ничего
В лихом полёте.
И потому везде куски
Духовной плоти.

Но крови более не быть,
Иссякло тело.
Она разделась догола,
Она горела.

Нутро поэзии – огонь,
И он достигнут.
Деревья пламенем искрят,
Деревья гибнут.

* * *

Остановись. И под ноги смотри.
Дымится пыль и плавает у пола.
Мы говорим, читая словари,
На языке О'Брайена и прола.

Я здесь никто, зови меня никем.
Я вытекла из фонарей кварталов,
Я не пишу восторженных поэм,
Но выбираю марево подвалов.

Мне кажется, я в сумраке бреду,
Мне чудится, ладья Харона близко,
Живые лица ходят по пруду,
За мною блик – посланье обелиска.

Не обернусь. Я вижу всё и так.
Он сквозь меня выплясывает соло.
Пронзает тень спины, а дальше – мрак,
Он спотыкается и приникает к полу.

Не обернись! Ты в комнате своей.
Я – твой вопрос, я – твой запретный плод...
Постой, я вижу отблеск фонарей,
Я слышу всплеск. Река или ручей...
Угроза королю. Последний ход.

* * *

Я мыслю в пределах. Достаточных миру
Для лучшего знания нашей психушки.
Не помню, как я заперала квартиру
И вдруг выходила. Но помню игрушки.

Момент. Подождите. Игрушки стояли
Чуть позже. А раньше я, кажется, выла.
Зачем-то, не знаю, в особенном зале
Вдыхала пугающий запах кадила.

Потом деревянные двери я помню.
И стол без омета. И стулья. Уныло.
Меня отправляли на каменоломню.
Сначала мне это ничем не грозило.

А ныне смотрите – я мыслю в пределах,
Огромной психушки. В безумную стаю,
В настенном вращении, в колющих стрелах,
Я входа не помню, а выход – не знаю.

* * *

Ты снова здесь. Зачем ты снова здесь.
Колышется негодование штор.
Я чувствую пугающую резь,
Когда во мне ворочается вор.

Постой, не выворачивай рукав
Плаща на разукрашенной струне
В моей груди. «Ты злишься – ты не прав».
И помни, я с тобою наравне.

Один вопрос. Позволь один вопрос
Тебе задать. Не убегай в окно!
Или куда протягиваешь трос,
Чтоб не упасть в холодное вино.

Да, я пьяна, я каждый день пьяна
Тебе назло. Холодной головой
Я мыслю только с привкусом вина,
Когда струна сливается с листвою

Осенних дров.
Зачем ты снова здесь.



Рецензия

на книгу Сергея Кочукова «Когда мы были на войне...»

Прочитать хорошую, познавательную книгу – всегда приятное событие. А если такая книга о Великой Отечественной войне – вообще двойная удача. И не только потому, что сегодня достойных произведений о войне, к сожалению, крайне мало, но ещё и потому, что по прошествии семидесяти пяти лет восприятие даже грандиозных сражений меняется, обрастая мифами и всякими домыслами, затмевающими правду. А что уж говорить о рядовых событиях, не отмеченных в военных сводках Советского Информбюро – они просто выветриваются из памяти. Конечно, давать оценки каждой минуте, часу и дню того периода некорректно, но хочется, чтобы последующие поколения всё-таки знали о том, что тогда происходило.

В преддверии Дня Победы мне повезло прочитать книгу «Когда мы были на войне...», подаренную автором – тамбовским писателем Сергеем Кочуковым. В ней нет несусветных ляпов, которыми сейчас изобилует большинство военных фильмов и книг. Кочуков – офицер, для которого развлекать гражданскую публику придуманными подвигами неприемлемо, тем более, выставять противников, покоривших почти всю Европу дураками и неумехами – это унижать великий подвиг миллионов солдат и офицеров Красной Армии, одолевших страшную коричневую чуму. Автор намеренно уходит от эффектных красот и громких лозунгов, рассказывая о повседневном быте и подвигах простых солдат, избегает менторского тона. Стараются не отходить от окопной правды. В повести «Алёшка Урюпин, мой друг» Кочуков показывает становление настоящих воинов – необстрелянные рабочие и крестьяне превращаются в профессиональных военных, для которых выжить и победить – главная задача. Причём такое преобразование происходит в ускоренном режиме.

Недаром один день на войне считается за три в обычной мирной жизни. Но война есть война! В ней получают ранения и погибают, радуются и огорчаются, любят и расстаются. Одним суждено сложить свою голову, будучи совсем молодым, другим – несмотря ни на что остаться живым. Кому-то суждено дойти до Берлина, а кому-то – в первые дни войны попасть в плен, бежать и потом, сражаясь, доказывать себе и окружающим, что он не трус и не предатель.

Однако молодой молотобоец Алексей Урюпин, попавший на передовую, подобными философскими категориями себя не утруждал. «Либо в первом же бою шлёпнут, либо в медсанбат. Ещё неизвестно что лучше», – с тревогой и страхом думал молодой необстрелянный солдат. «Полки их дивизии уже три дня сдерживали наступление фашистской армады, оставляли окопы и отодвигались на запасные позиции. Перед линией наших окопов громоздились, исходя гарью, десятки танков с чёрными крестами. Поля были усеяны телами немцев, а они, невзирая на колоссальные потери, всё пёрли вперёд, в надежде прорвать нашу оборону на южном фланге Курской дуги. Непрерывающийся поток машин и конных повозок целый день вёз и вёз раненых к палаткам медсанбата. И поток этот был наполнен кровавой мутью, жуткими стонами попеременно с матом и нестерпимой человеческой болью. На подламывающихся от усталости ногах Алексей таскал окровавленные носилки, а на них, чаще всего, такие же, как он, безусые юнцы, безжалостно изуродованные, с искажёнными гримасой боли лицами».

Прошло несколько месяцев, Урюпин уже считался опытным бойцом, повидавшим за это время всякого. Он уже ничего не боялся, был жесток и хладнокровен, получив ранение и подлечившись в госпитале, поспешил на передовую, помогать своим товарищам. В 1944 году он был награждён медалью «За отвагу» за то, что при взятии села Сочи в Румынии захватил миномётный расчёт противника. А было ему тогда всего девятнадцать лет.

Но главный свой подвиг молодой солдат совершил позже – уже будучи тяжелораненым, продолжал бой, раз за разом срывая очередную атаку фашистов. Пулемётчик Алексей Урюпин был представлен к званию Героя Советского Союза. Но не «посмертно», нет – командир полка не знал, что его боец к тому времени уже умер от ран.

Однако нравственно-патриотическим камертоном книги, на мой взгляд, является повесть «Штрихи к портрету», посвящённая фронтовым разведчикам Великой Отечественной войны. Кочукову удалось сохранять необходимую интригу на протяжении всего произведения. Обычно, описывая подвиг разведчиков, многие авторы идут по пути наименьшего сопротивления – пользуются штампами. Разведчик либо совершает подвиг, за который его награждают высокой наградой, либо погибает, выполняя порученное задание. Герой повести Павел Костров предстаёт перед читателями в образе школьного учителя истории. Он недавно приехал в село, и ребята приняли его враждебно. Его потухшие глаза, нос с сеточкой красно-синих прожилок, свидетельствующих о пристрастии к спиртному, поникшие худые плечи и шаркающая походка, изуродованные руки, которые он постоянно пытался чем-то прикрыть, не вызывают интереса окружающих, скорее жалость и сожаление. Никто из сельчан не знает, что этот затюканный человек был когда-то легендой полковой разведки. Будучи командиром разведгруппы и к тому же отличным психологом и рисовальщиком, молодой лейтенант выполнял самые важные и сложные задания. При этом Костров ценил каждого своего бойца и не шкурничал – вносил свой офицерский паёк в общий котёл, чем заслужил уважительное отношение выдавших виды разведчиков.

Но как случилось, что такой талантливый боевой офицер превратился в жалкого человека? Выполняя очередное задание в тылу врага, Костров с подчинённым не смогли уйти от преследовавших их фашистов. Его товарищ подорвал себя

гранатой, и его примеру попытался последовать лейтенант. Не удалось – тяжелораненого Кострова схватили враги. Немецкий офицер Бонке, узнав, что именно этот лейтенант захватил его брата в плен, решил до смерти забить разведчика. Началось бессмысленное жестокое истязание. «Страшный удар в голову свалил с табурета, его вновь начали избивать. Били ногами. Гауптман старался достать в открытые раны в боку, бил в промежность, топтал каблуками разбитое лицо. Зигфрид Бонке с трудом заставил себя остановиться в то время, когда Костров давно уже находился без сознания». Чтобы привести разведчика в сознание, офицер лил крутой кипяток на израненную спину Кострова. И лишь бомбардировка станции, где находились фашисты, остановила близкий конец лейтенанта. Одна бомба угодила в здание, где шёл допрос. Почти год Кострова перемещали из одного госпиталя в другой, с одного операционного стола на другой. И он не жил, он мотался между жизнью и смертью. Костров не помнил своего имени, болезненно вздрагивал от любого шума, пугливо озирался по сторонам. Со временем восстановилось всё, кроме работоспособности правой руки.

Ученики класса смеялись над новым учителем, отпускали в его сторону всякие колкости. Костров всматривался в лица ребят: «Откуда? Отчего? Кто дал им уроки безжалостной чёрствости? Почему не научили любить? По возрасту они почти ровесники тем, кто был со мной на войне? Откуда такая несхожесть? А главное, что же мне делать с вами? Как научить думать? Научить отвечать за свои слова, поступки?» Костров начал левой рукой рисовать портреты учеников, только одеты они были в военную форму: кто-то из них стал санинструктором, кто-то разведчиком. Ребята притихли, потрясённо молчали, по-новому глядели на старого учителя-калеку, на героев его рисунка. Затем спросили:

– Это ваши? С кем на войне были?

Узнав, что все они погибли, ребята молча покинули класс, чего прежде никогда не было.

Состоялось настоящее знакомство учеников с учителем.

Известно, что на войне бывает всякое – даже самое невероятное. «Рассказ деда Александра» удивляет нетипичной судьбой солдата Александра Жалнева. О таком мне, честно сказать, читать ещё не приходилось. Вольно или невольно, но его дважды спасли враги – странный немецкий офицер, сымитировавший расстрел красноармейцев, в числе которых оказался и Сашка, и налёт немецкой авиации, позволивший Жалневу, незаслуженно обвинённому в дезертирстве, спастись.

Рассказ «Знамя» почти с документальной точностью фиксирует жёсткую правду войны. Десятки тысяч наших бойцов оказались в окружении немецких войск под Харьковом, в так называемом Барвенковском котле. Советские части пытаются вырваться, но большинство красноармейцев гибнет в этой кровавой мясорубке, лишь единицам удаётся остаться в живых. «Придя в себя, немцы начали с двух сторон, в упор, буквально насквозь прошивать рвущиеся к свободе колонны русских из всех видов оружия. Сгорели танки и броневичок, было разбито большинство машин и орудий, полоса прорыва была устелена телами убитых и раненых. Эту шевелящуюся, стонущую, истекающую кровью полосу немцы дважды засыплют минами, перепашут снарядами, и она смолкнет. Они отведут войска и обустроят их в менее подходящем месте, лишь бы не находиться рядом с этим, открытым ветрам, дождям и солнцу, гигантским кладбищем».

Сержант Григорий Хохлов спасает полковое знамя, понимая, что, если попадёт в руки к врагам, его ожидает неминуемая гибель. Его однополчанин Иван Свирелин категорически против такого геройства, потому что они вдвоём находятся на территории, контролируемой немцами. Он призывает сержанта выбросить знамя. «Всё в героев играешь! А они там под Барвенковым все остались, а генералы, комиссары, что нас в это пекло послали, далеко на востоке, новые сражения разрабаты-

вают. И эти, которых мы только что схоронили, тоже впереди всех драпали, войска бросили, стратеги, мать их... Чего ты мне полковником Федотовым тычешь, таких как он единицы, и они, как и мы, всего лишь мясо пушечное. А я не желаю, не желаюдохнуть из-за этого куска материи, не хочу! И тебе не позволю!»

Григорий Хохлов прогоняет струсившего Свирелина, и в одиночку продолжает опасный путь. За фронтовой линией его, как и несколько других красноармейцев, обнаруживают, но встречают отнюдь не по-братски – обвиняют в трусости и дезертирстве и тут же без суда и следствия расстреливают. И только знамя спасает Хохлова, который, увидев рядом Свирелина, его не выдает. «Тут только Григорий увидел в пяти шагах пытавшегося подняться Ивана Свирелина. Если бы увидел в его угольно-чёрных глазах страх и мольбу о пощаде, Григорий, наверное, «не признал» бы его. В глазах он увидел несвойственную Свирелину горделивую обречённость, готовность принять как должное то, что через мгновение станет последней безжалостной точкой в его короткой жизни. Может, поэтому Григорий неожиданно для самого себя произнесёт:

– Со мной..., соседней роты боец...»

Небольшая по объёму книга Сергея Кочукова заставляет о многом задуматься, многое пережить. Как-то по-новому посмотреть на наших убелённых сединой ветеранов. Двадцать семь миллионов наших отцов и дедов отдали за нас свою жизнь, чтобы мы могли спокойно жить под мирным небом. Наш долг – достойно беречь о них память.

Валентин БАЮКАНСКИЙ,
писатель, журналист

Об органичности метафоры

Лекция-размышление о природе творчества

Руководители литературных объединений, мастера, работающие на семинарах для молодых поэтов, члены жюри литературных конкурсов – все, кто много и серьёзно работает с текстами начинающих авторов, признают, что одним из проблемных моментов зачастую становится обилие искусственно созданных метафор. Неорганичность метафоры как признак формирующейся поэтики имеет шанс вырасти в своеобразие языка и стиля (правда, только при наличии вкуса и чувства меры у пишущего). Однако чаще приходится говорить о кризисе образной системы, о внутреннем «нечувствии» начинающего, а иногда и давно уже пребывающего в этом состоянии поэта к правде жизни.

Чтобы разобраться в том, какую метафору следует признать органичной, а какую – искусственной, обратимся к определению термина. Слово «метафора» имеет греческое происхождение и переводится как «перенесение». Словарь литературоведческих терминов даёт известное со школьных лет определение: «Метафора – это перенесение свойств одного предмета на другой, скрытое сравнение».

Метафору привыкли понимать как средство языковой выразительности. Но сегодня хотелось бы поговорить о ней в ином качестве, подчеркнув тот факт, что метафора – не столько орудие речи, сколько инструмент образного мышления. Воспринимать метафору как троп, фигуру художественной речи так же недальновидно, как судить о величине айсберга по его вершине. Метафора лежит в основе общечеловеческого мышления, она – атрибут древности и одновременно – шаг в будущее, к новым поколениям.

Именно в таком значении говорил о метафоре автор исследования «Две главные метафоры» испанский философ Х. Ортега-и-Гассет: «...метафора – это действие ума, с чьей по-

мощью мы постигнем то, что не под силу понятиям. Посредством близкого и подручного мы можем мысленно коснуться отдалённого и недосягаемого. Метафора удлиняет радиус действия мысли, представляя собой в области логики нечто вроде удочки или ружья. Я не хочу сказать, будто благодаря ей преодолеваются границы мышления. Она всего лишь обеспечивает практический доступ к тому, что брезжит на пределе достижимого...». Продолжая сравнительный ряд, заданный философом, можно добавить, что метафора – это ядро образа, многократно усиливающее силу всякой мысли и определяющее дальность её полёта.

Метафора – явление древнее, её корни следует искать в детстве человечества. Вспомним детскую игру «Море волнуется раз...». Ведущий предлагает участникам стать морскими существами – и дети перевоплощаются в кита, медузу, осьминога. Они не притворяются, а совершенно серьёзно становятся тем, что представляют. Точно так же, как мы с вами в раннем детстве, мыслило на заре своего существования всё человечество. Люди были неотделимы от природы. Они верили, что деревья, травы, колосья – души их предков, сами предки, что ветер, луна и солнце знают, где искать пропавшую возлюбленную, что лес полон злых духов, а вода дарует жизнь. Это была первобытная попытка пережить и перебороть смерть. Достаточно вспомнить устное народное творчество, уходящее корнями в миф и ритуал. В сказке «Крошечка Хаврошечка» погибшая корова возвращается к жизни прорастающей сквозь землю яблонькой. Так Сиринга, преследуемая Паном, превращается в тростник, а тростник – в свирель. Так душа возвращается на землю песней. Метафора – это мечта человечества о жизни вечной, формами воплощения которой были и остаются для большинства из нас образы природы.

Связь человека и природы была не просто велика, она была неразрывна. Современным людям, оторванным от аграр-

ного цикла и легко представляющим свою жизнь без плуга и мотыги, трудно это понять. Природа стала для нас местом отдыха, фоном приятного досуга, красивой заставкой на экране компьютера. Наши предки чувствовали иначе. Автор «Слова о полку Игореве» сравнивал пальцы Бояна с десятью быстрыми соколами, а струны – с десятью лебедями. Жизнь и смерть, день и ночь, добро и зло постигались через противоборство стихий, в слитности с животным и растительным миром. Эта мысль о единстве мира и человека запечатлена в древнерусских орнаментах, в наших сказках, былинах, лирических песнях, загадках.

Неорганичность большинства неудачных метафор вырастает из хаоса современной жизни. Человек теряет связь с землёй, воздухом, огнём, травой, водой, другими людьми. Зато он неуютно чувствует себя без проводов и труб, зарядных устройств и мерцающих мониторов. Так куётся новая индустриальная органика, у которой тоже существуют традиции (кстати, почти вековые).

Для примера приведу фрагмент стихотворения «4 сыра», написанное молодым уфимским автором Эвелиной Бронниковой:

*Я живу-то вообще кое-как:
недоработанно, сыро.
Еле-еле тянусь
и с натяжкой такой существую.
Жизнь – это служба доставки:
ты заказываешь пиццу четыре сыра,
тебе
привозят мясную,
а ты вообще такое не ешь.
И на сердце брёшь,
и память вцепилась, как клещ;
уложила меня на лопатки
в полную силу,*

но мне только сильнее
хочется
лечь.
И с одной стороны всё в порядке,
а с другой
в печь, с размаху всё это
в печь
и по затылку обухом.
...И час от часу только хлеще
теряется вера
в любую из самого крупного
вихря встреч.
– Пожалуйста, продиктуйте ещё раз номер
курьера,
мне нужно поплакать
хоть в чью-нибудь
пару
плеч.

Трагедия существования, постигаемая через метафору «подали не то», понятна любому подростку. Отбрасывая технические огрехи и логические нестыковки гипербол и литот, нельзя не увидеть в этом неуклюжем и искреннем тексте токи нового мироощущения, попытку «одеть» живую эмоцию в адекватный современности предметный ряд. Не заблудиться в туннеле образов помогла бы связность всех деталей, единство композиции. Попытка поделиться болью хотя бы с курьером – хороший символ одиночества, но неразработанность метафор сводит эту попытку на нет. Пиццы остаются брошенными в печь, а клещ памяти валит героиню на лопатки, словно беспощадное хтоническое чудовище, прежде чем она расплатится в «чью-нибудь пару плеч».

Дав определение метафоре, поговорим о некоторых её свойствах. Прежде всего, научимся отличать приём метафо-

ризации от других способов работы с образом. Для того чтобы безошибочно распознать метафору, нужно отделить её от сравнения. Сделать это можно с опорой на следующие признаки:

1. Формальные (языковые):

Сравнение в тексте «выдают» сравнительные обороты, слова, передающие процесс сопоставления (как, словно, будто, точно, похоже...). Их отсутствие может говорить о том, что перед нами метафора.

Метафорические конструкции часто представляют собой словосочетания с типом связи управление, где зависимое слово находится в родительном или творительном падеже: носик чайника, лик луны, апельсиновый сок заката, «белую козынкой принакрылася сосна».

2. Содержательные (смысловые):

Сравнение подчёркивает разъединённость предметов. В пушкинском сравнении «Луна как бледное пятно» важно не только то, что овал луны неяркий и зыбок, словно блёклое пятнышко. Важно, что луна не равна пятну, а только подобна ему. Сравнение заостряет внимание на каком-то одном признаке предмета (бледности), но не берётся охватить весь образ целиком. Метафора же говорит о единстве, слитности, нераздельности одного с другим. Ты и есть я. Это и есть то. Она строится так, что становится ясно: рыжий месяц, который у Есенина «жеребёнком запрягался в наши сани» – и есть маленький конь, без всяких скидок и преувеличений. По щелчку пальцев, по шучьему велению одно превращается в другое, как тыква – в карету Золушки.

Метафора связывает земное и небесное, действуя по законам сказки. Поэт знает место и время для того, чтобы дать вещам другие имена, сдвинуть грань привычного и заставить сердца читателей биться громче. В этом и состоит тайна рождения метафор, а может быть, тайна самой поэзии.

В вопросе создания метафорических конструкций не может быть общей классификации. Скажем лишь о некоторых видах метафор. Метафора бывает:

– Стёртой или статичной. Примеры – ручка чайника, ножка стола (их обыграла в известном стихотворении «В чудной стране» И. Токмакова). Чтобы преодолеть эту стёртость, следует продолжить метафору, вступить с ней в игру, как это делают дети. Скажем, если у стула есть ножки, почему бы не надеть на них носочки?

– Резкой. Такая метафора возникает, когда сопоставляются понятия из разных сфер: например, начинка идеи. Кулинарный термин сочетается с явлением ментальной сферы.

– Развёрнутой. Она рождается, когда образ приходит в движение. Есенинский рыжий месяц, запрягающийся в сани, – типичный пример такой метафоры. В статье-трактате «Ключи Марии», написанной в период увлечения имажинизмом, поэт предлагает любопытную классификацию образов, отчасти совпадающую с общелитературными представлениями о метафоре статичной и развёрнутой.

Есенин предлагает выделять три типа образов: заставочный, корабельный и ангелический. Заставочными образами он считает неподвижные предметы, сопоставляемые на основе их сходства. Руки – ветви, шеи лебедей – колосья, звёздное небо – воинский щит. Корабельные образы отчаливают от мысленной пристани и начинают жить особой жизнью. Цитируя Есенина, «...Золотою лягушкой луна распласталась по тихой воде...». Луна не просто сравнивается с лягушкой, но и совершает действия, свойственные лягушке, – распластывается по воде. Это точная живая метафора. Наконец, ангелические образы приоткрывают то, что скрыто за формой вещей, – их суть, некий второй план, небесный оттиск. Так в цикле «Любовь хулигана» появляется метафора «Твой иконный и строгий лик по часовням висел в рязанях», которую можно трактовать и как отблеск идеи о поиске Вечной Женственности, и как национальный женский архетип.

Иногда развёрнутая метафора используется в целях создания юмористического образа, часто она образуется за счёт разрушения неделимых словосочетаний, нарочитого переименования фразеологизма. Иногда такой смысловой сдвиг провоцирует неожиданные и свежие повороты мысли. Например, идиому «сходить с ума» можно понимать как образ, а можно представить физически. Героиня словно бы спускается с крыльца некоего терема, в котором до сих пор берегла себя от мира. Каждая ступень на этом пути – шаг в бездну. В бездну чего? Того, что противоположно уму. Антонимы ума – глупость, безумие. А слово «безумие» можно (и в данном случае нужно) понимать в высоком смысле, как безумие пифий, пророчиц, блаженных. Тогда схождение со ступеней разума, долга можно воспринимать как постепенное погружение в иной, тонкий мир. И тогда это движение будет направлено уже не вниз, а – в глубину! И эта глубина маркируется положительно. Так родилась знаменитая строфа Б. Ахмадулиной из стихотворения «Прощание»:

*...А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства...*

Подведём итоги. Органичность метафоры определяется умением свести воедино сюжетные линии и предметные контуры образов, очерчиваемых в поэтическом тексте. Метафора должна быть:

– Зримой, представимой. К примеру, в стихотворении о карточной игре как метафоре жизни не стоит говорить о «злых вихрях судьбы». Чтобы увидеть метель, читатель должен выйти из комнаты, где шла игра, – пространство неизбежно разорвётся, а такой ход возможен, только если у него есть художественное оправдание.

– Неизбыточной, лаконичной, единонаправленной. В тексте, описывающем переменчивость любви через метафору качелей, упоминание флюгера или майского ветра будет лишним.

– Востребованной, функциональной. Висящее на стене ружьё непременно должно выстрелить. Всевозможные указания на бытовые подробности оправданы, если они являются частью образа. Названия напитков, блюд, торговых брендов, книг и прочего не важны читателю сами по себе. Ему всё равно, что стынет в вашей чашке в миг одиночества: масала или молочный улун. Можете просто написать: «чай» (если, конечно, речь идёт не о романе с индусом).

Метафоризация – внутренний процесс, в котором не всегда можно дать себе отчёт. Потокость и безыскусность здесь гораздо важнее, чем попытка сконструировать образ. Это стихия, с которой можно слиться и свыкнуться, научившись слышать её гулы у себя внутри. Иных путей обретения поэтического почерка и собственной словесной органики я не знаю.

Мария ЗНОБИЩЕВА,
литературовед, критик



Авторы «Тамбовского альманаха»

Лавленцев Игорь Вячеславович – поэт, прозаик, драматург. Родился 27 августа 1963 года, скончался 7 октября 2005 года. Первые стихи опубликованы в областной молодежной газете «Комсомольское знамя» в 1983 году. Печатался в журналах «Москва», «Юность», «Сельская молодежь», «Кредо», «Подъём», альманахе «Поэзия». Автор сборников стихов и прозы «Чёрный турман» (1992), «Элегия скола» (1997), «Смиренная декада» (Тамбов, 2002, Москва, 2005). Лауреат конкурса Союза журналистов России «Золотое перо» в 1999 году. Пьеса «Джаз до конца» опубликована в 3-м выпуске «Тамбовского альманаха». Член Союза писателей России.

Макаров Александр Михайлович – поэт. Родился в 1946 году в деревне Еремеево Староюрьевского района Тамбовской области. Заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах «Аврора», «Юность», «Волга», «Наши современники». Лауреат журналов «Подъём» и «Наши современники». Сборники «Красный мячик», «Излучина», «Светлый час», «Вечная жатва», «Музыка жизни» и многие другие выходили в Тамбове, Воронеже, в Москве. В 2018 году в Тамбове издана книга стихов Александра Макарова «Знаки луны». Лауреат областной премии имени Е. А. Баратынского. Член Союза писателей России.

Доровских Сергей Владимирович – прозаик, публицист. Окончил ТГТУ (кафедра «Связи с общественностью»). Главный редактор журнала «Литературный Тамбов» и газеты «АиФ-Тамбов». Автор книг «Единственный выход», «Ересь», «Патриот, хранимый судьбой», «День твоего имени», «Время Весны». Публиковался в журналах «Наши современники», «Памир», «Сухум», «Странник», «Губернский стиль», в «Тамбовском альманахе» и других изданиях. Лауреат областной журналисткой премии имени И.И. Овсянникова. Лауреат премии им. Л.М. Леонова журнала «Наши современники» (2018). Финалист литературного конкурса партии «Справедливая Россия» «В поисках правды и справедливости» (2018). Член Союза писателей России.

Часовских Елена Владимировна – поэтесса, учитель, журна-

лист. Окончила ТГУ им. Г.Р. Державина, кандидат филологических наук. Участник поэтической студии Сергея Бирюкова «А3». Организатор Рассказовского литературного клуба, внештатный корреспондент информационного портала «ТВОЛК». Победитель конкурса творческих работ в рамках Всероссийского проекта «Сельский учитель в большой России» в Санкт-Петербурге. Публиковались в Тамбове, Липецке, Воронеже, Ижевске, Санкт-Петербурге, Москве в газетах, альманахах и поэтических сборниках. Член литактива ТРО Союза писателей России.

Моисеева Алексис Юрьевна – поэт, журналист. Родилась в 1994 году в селе Скольники Моршанского района Тамбовской области. Закончила институт филологии ТГУ имени Г.Р. Державина. Публиковалась в журналах «Подъём» (Воронеж), «Веретено» (Калининград), в антологии «Молодёжная поэзия России» (2020), коллективном сборнике поэтов Тамбовской области «Излучение», в «Тамбовском альманахе», в «Рассказ-газете», в молодёжном поэтическом альбоме Тамбовской области на сайте «Российский писатель». В 2018 году выпустила сборник стихов «Бумажные самолётики в Никуда». Член литактива ТРО Союза писателей России.

Королёва Зинаида Алексеевна – прозаик, публицист. Родилась 21 мая 1941 года в Свердловске (Екатеринбург). В Тамбове окончила школу, затем техникум, и, уже работая бухгалтером, завершила учёбу в институте. Работала на крупном заводе инженером-экономистом, по состоянию здоровья вышла на пенсию. Писала стихи, прозу, занималась в литературном объединении «Радуга» под руководством Семёна Милосердова. Публиковалась в заводской многотиражке. Сейчас издано около тридцати книг. Книги З.А. Королёвой размещены в национальной библиотеке Киргизии. Член Союза писателей России.

Лошкарёв Александр Анатольевич – поэт. Родился в 1993 году в Липецке. Окончил Липецкий государственный педагогический университет по специальности преподаватель истории и мировой художественной культуры. Автор трёх сборников стихов. Публиковался в журналах «Петровский мост», «Подъём», «Бель-

ские просторы» и других. Участник Всероссийских совещаний молодых писателей в Ульяновске, Уфе, Воронеже, Химках. Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник» (2019); лауреат конкурса «Независимое искусство» (2019); финалист Международного конкурса «Мгинские мосты – 2020»; лауреат Липецкой областной премии им. Е. И. Замятина (2020); лауреат Всероссийской премии им. Андрея Дементьева (2021).

Бережной Сергей Александрович – прозаик, публицист. Родился в 1955 году в Воронежской области. Окончил ВГУ, академию МВД СССР, Российскую Академию госслужбы. Служил в Советской Армии, органах МВД, участник боевых действий, Федеральный судья в отставке. Публиковался в журналах «Наш современник», «Роман-журнал 21 век», «Звонница», «Пограничник» и др. Автор более десяти книг. Лауреат «Большой литературной премии России», премий «Щит и меч Отечества», «Имперская культура» им. Эдуарда Володина, «Прохоровское поле». Секретарь Союза писателей России, руководитель Военно-художественной студии писателей Минобороны РФ при Белгородском региональном отделении Союза писателей России.

Тарасов Александр Васильевич – прозаик, поэт, публицист. Автор нескольких книг прозы и поэзии, лауреат Российских и Международных литературных премий. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Живет в г. Шебекино.

Луканкина Елена Львовна – поэтесса, прозаик, драматург, журналист. Родилась в Тамбове. Окончила факультет журналистики ТГУ имени Г. Р. Державина. Автор книг «Маленькие жизни», «Искусство крика», «P.S.», «Дерево в огне», «Полуангелы» и других. Лауреат литературно-общественной премии «Светить всегда» им. Владимира Маяковского. Лауреат премии им. Е.А. Баратынского. Лауреат литературной премии «Светунец» им. Вячеслава Богданова. Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Николаева Александра Николаевна – поэтесса. Родилась в Тамбове, окончила ТГУ им. Г.Р. Державина. Кандидат исторических наук. Занималась в литературно-творческом объединении «Тропинка». Сотрудник Тамбовской областной библиотеки им. А.

С. Пушкина, поэтический куратор творческой студии «ШАТЁР» Автор поэтических сборников: «Что о себе могу я рассказать», «А на душе покойней и светлей», «Осенний дневник», «Матеръ жизни». Публиковалась в «Тамбовском альманахе», «Литературной газете», журнале «Подъём», на сайте «Российский писатель». Лауреат литературной премии «Светунец» им. Вячеслава Богданова. Член Союза писателей России.

Дорожкина Валентина Тихоновна – поэтесса, прозаик, литературовед. Родилась в Мичуринске. Окончила Тамбовский педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы, корректором, редактором газеты «Народный учитель», ст. редактором Тамбовского отделения Центрально-Чернозёмного книжного издательства. Автор более двадцати книг. Лауреат многих литературных премий. Заслуженный работник культуры РФ, Почётный профессор ТГУ имени Г.Р. Державина, Почётный гражданин г. Тамбова. Кавалер ордена Дружбы. С 1985 года руководит детским литературно-творческим объединением «Тропинка». Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Баранова Наталия Ивановна – прозаик. Родилась в 1961 году в Тамбове. Окончила Моршанский библиотечный техникум, Московский институт культуры. Работала заведующей детской библиотекой им. И.А. Крылова ЦБС г. Тамбова, менеджером в фирме «Тамбов-Виктория». Публиковалась в газетах «Притамбовье», «Тамбовский курьер», в журналах «Литературный Тамбов», «АлександрЪ», в литературном альманахе «Заряна криница» (Украина). Увлекается фотографией, фото выставлялись в Израиле на выставке «Мир глазами женщины», в Волгодонске – на выставке международного сообщества «Линия взгляда», в Москве, в Звёздном городке. Готовится к изданию сборник рассказов. «Злокачественная форма одиночества». Член литактива ТРО Союза писателей России.

Михайлова Александра Анатольевна – прозаик, публицист. Родилась в 1984 г. в Тамбове. Окончила ТГУ им. Г.Р. Державина, институт филологии. Редактор газеты «Наш город Тамбов», корреспондент Тамбовской областной православной газеты «Ко-

локольный звон», главный редактор сайта www.palotnik.land. Публикуется в жанрах: очерк, интервью, репортаж, заметка, фельетон. Автор рассказов, стихотворений и научных статей в области литературоведения. В 2019 году издала книгу для детей и семейного чтения «Доброе дело». Дипломант национальной премии в области прессы «Искра» в номинации «Фельетон» (2011), три призовых места в конкурсе журналистских работ администрации Тамбова «Три пчелы» (2015), медаль «За развитие русской мысли» им. Ивана Ильина Общероссийского общественного движения «Россия православная» 2015 года. Член литактива ТРО СП России.

Алексенко Маргарита Александровна – поэтесса. Родилась в г. Волгограде, окончила Волгоградский инженерно-строительный институт, «архитектор». Член Союза архитекторов России. Участвует в работе литературного объединения «Радуга», публиковалась в газете «Тамбовская жизнь», в «Тамбовском альманахе», в коллективных сборниках, вышедших в Москве и Ростове-на-Дону, одно из стихотворений опубликовано в журнале русскоязычной поэзии «Окна», издающемся в Ганновере (Германия). Живёт в Тамбове.

Журавлёв Александр Владимирович – поэт, музыкант. Родился в 1984 году в с. Вишиновое Староюрьевского района Тамбовской области. Окончил филфак ТГУ им. Г.Р. Державина, учился в аспирантуре. Автор книг «Первые перья» (2017), «Порыв» (2017), «Патина» (2020). Публиковался в электронных изданиях «Пролог» и «Топос», в «Тамбовском альманахе», журналах «Подвём» и «Александръ», «Рассказ-газете», коллективных сборниках «Поэтех» (Воронеж), «Излучение» (Тамбов) и других изданиях. Стипендиат Министерства культуры РФ, обладатель диплома «За продолжение классических традиций в русской поэзии» литературного конкурса имени С.Н. Сергеева-Ценского.

Голубь Игорь Владимирович – поэт, прозаик, журналист. Родился в Калининграде в 1984 году. Редактор и издатель всероссийского молодёжного литературного журнала «Веретено», составитель и издатель антологии молодёжной поэзии России «111». Участник всероссийских литературных совещаний СП России в

Химках (2018, 2020), межрегионального литературного съезда СП России в Воронеже (2019). Автор пяти поэтических сборников, публиковался в журналах «Подъём» и «Бельские просторы». Член Союза писателей России.

Новиков Андрей Вячеславович – поэт, прозаик. Родился в 1961 г. в Тверской области. Окончил Литературный институт им. Горького (семинар В. Кострова). Публиковался в «Литературной газете», «Московском комсомольце», журналах «Литературная учёба», «Дружба», «Молодая гвардия», «Подъём», «Петровский мост», «Студенческий меридиан», «Литературная Киргизия», альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Истоки», коллективных сборниках Москвы и Воронежа. Член Союза писателей России, руководитель Липецкого регионального отделения.

Самородов Владимир Юрьевич – автор коротких рассказов. Родился в Тамбове 1992 году. Окончил юридический факультет ТГУ им. Державина. Практикующий адвокат. Увлекается дореволюционной историей. Рассказы неоднократно печатались на страницах периодических изданий: «Рассказ-газета», «Литературный Тамбов», «Великороссь». В 2018 году вышла дебютная книга автора под названием «Под дождём моих мыслей». Член литературного актива ТРО Союза писателей России.

Тюрин Николай Викторович – прозаик, краевед. Родился в 1974 году в с. Калугино Инжавинского района Тамбовской области. Окончил Мичуринский плодоовощной институт, квалификация «учёный агроном» и филологический факультет Мичуринского пединститута, специальность «учитель русского языка и литературы». Кандидат с/хозяйственных наук. В 2013 году вышла первая книга «Мы будем жить вечно». В 2017 году опубликован роман «Антонов. Последний пожар», в 2020 году – роман «Антонов. Последний пожар» и повесть «Игнат». Издан сборник статей «Тамбовское восстание». Принимал участие в международных научно-практических конференциях «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем». Лауреат поэтического конкурса «Кипрусс», проводимого при поддержке фонда «Созидающий мир». Член литактива ТРО СП России.

Бартновская Марта – поэтесса. Выпускница средней школы № 30 г. Тамбова, победитель фестиваля детского литературного творчества «Признание». Печаталась в газете «При-тамбовье», журналах «Путеводная звезда» (Москва) и «Четверговая соль» (Пенза), в коллективных сборниках молодых поэтов, авторов фестиваля «Признание».

Баюканский Валентин Анатольевич – писатель, журналист. Автор произведений мистического и фантастического характера. Изданы книги: «Прогулки в закоулки», «И вновь прогулки в закоулки», «Обруч Ангела», «Любимая из созвездия Козерога». Автор более 800 публикаций в различных российских и зарубежных СМИ. Член Союза журналистов России и Международной ассоциации писателей публицистов МАПП, председатель правления Липецкого общероссийского Союза писателей «Воинское содружество». Член Союза российских писателей. Награждён медалью «Во Славу Липецкой области»

Мария Игоревна Знобищева – поэтесса, прозаик, критик. Родилась в Тамбове, окончила Институт филологии ТГУ им. Г.Р. Державина. Кандидат филологических наук. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Подъём», «Волга – XXI век», «Вопросы литературы», «Крещатик», «Пересвет», в «Литературной газете», на сайте «Российский писатель». Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова, премии им. Ю.П. Кузнецова, дипломант Международного Волошинского фестиваля. Руководитель Центра творческого развития детей и подростков «Мир слова» при Центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака г. Тамбова. Член Союза писателей России.

Содержание

ЭПИГРАФ

Игорь Лавленцев. Чёрный турман. *Стихи* 3

ПРОЗА

Сергей Доровских. Обещайте, что вернётесь.

Военные рассказы..... 27

Елена Луканкина. Осень на улице Тёплой. *Рассказ*..... 129

Владимир Самородов. Человек со справкой. *Рассказы*..... 202

ПОЭЗИЯ

Александр Макаров. Время падения звёзд.

Стихи разных лет 7

Елена Часовских. «Подкидываю веточки в костёр...»

Стихи..... 75

Алексис Моисеева. «Не верится, что завтра выходной...»

Стихи 81

Елена Луканкина. «Всё начиналась как игра...» *Стихи* 137

Маргарита Алексенко. Я отключила телефон. *Стихи* 178

Александр Журавлёв. Весёлый день – суббота. *Стихи* 184

ЮБИЛЕЙ

Валентина Дорожкина. «Я буду ликовать и петь...»

Фрагмент очерка (об А.М. Макарове)..... 23

Валентина Дорожкина. Когда возрождается душа...

Фрагмент очерка (о З.А. Королёвой)..... 104

ИМЕНА

Осип Мандельштам.

«Мы живём под собою не чуя страны...»

К 130-летию выдающегося русского поэта 143

Александра Николаева. Стихия музыки и поэзия Осипа

Мандельштама. *Статья*..... 143

Валентина Дорожкина. Зимний Тамбов – глазами О.Э. Мандельштама. *Фрагмент биографического очерка*..... 147

ГОСТЬ АЛЬМАНАХА

Александр Лошкарёв. ...Всё ещё может случиться...
Стихи..... 108
Сергей Бережной. Рыжик. *Рассказ* 113
Александр Тарасов. Коля-лыжник. *Рассказ*..... 123
Игорь Голубь. «Воистину жизнь прекрасна...» *Стихи*..... 188
Андрей Новиков. Долгая дорога к дому поэтов.
Очерк к 135-летию Николая Гумилёва 195

НОВЫЕ ЛИЦА

Наталия Баранова. Злокачественная форма одиночества.
Новеллы 151
Александра Михайлова. Из книги «Доброе дело».
Избранные рассказы..... 167
Николай Тюрин. Антонов. Последний пожар.
Отрывок из романа 219
Марта Бартновская. «Я здесь никто, зови меня никем...»
Стихи..... 243

ИСТОРИЯ

Зинаида Королёва. Пылинки войны.
Исторический очерк 86

АЗБУКА ПИСЬМА

Валентин Баюканский. Рецензия на книгу Сергея Кочукова
«Когда мы были на войне...» 247
Мария Знобищева. Об органичности метафоры.
Популярная лекция..... 253

ФОТОГРАФИЯ

Наталия Баранова. Фотокартины. 156

Тамбовский альманах № 21

Литературно-художественное издание
Тамбовского отделения Союза писателей России

Главный редактор
Юрий МЕЩЕРЯКОВ

Редакционный совет

Олег АЛЁШИН
Валентина ДОРОЖКИНА
Мария ЗНОБИЩЕВА
Сергей КОЧУКОВ
Татьяна КУРБАТОВА
Елена ЛУКАНКИНА

Корректор
М.И. ДУБРОВИНА

Вёрстка
Ксения ПОПОВА

ISBN 978-5-6046568-3-9



Формат 60x84 1/16
Бумага му print. Печать цифровая гарнитура
Minion Pro. Печ. л. 15.69 Тираж 150 Заказ №15
studiapechati@bk.ru
Студия печати Галины Золотовой